

Часть VI. Западная Европа

I. В Эдинбурге и в Лондоне.

Сотрудничество в «Nature» и в «Times».

Отъезд в Швейцарию

В Северном море ревели буря, когда мы подходили к берегам Англии, но я с удовольствием приветствовал непогоду. Меня радовала борьба нашего парохода с яростными волнами. Целыми часами просиживал я на форштевне, обдаваемый пеной волн. После двух лет, проведенных в мрачном каземате, каждый нерв моего внутреннего я трепетал и наслаждался полным биением жизни.

Пароход наш зарывался носом в громадные волны, которые рассыпались белой пеной и брызгами по всей палубе. Я сидел на самом носу, на сложенных канатах, с двумя-тремя девушками англичанками и радовался ветру, расходившимся волнам, качке, наслаждаясь возвратом к жизни после долгого кошмара и прозябания в крепости.

Я не думал пробыть за границей более чем несколько недель или месяцев; ровно столько, сколько нужно, чтобы дать улечься суматохе, поднятой моим побегом, и чтобы восстановить несколько здоровье. Я высадился в Гулле под именем Левашова, под которым уехал из России. Избегая Лондона, где шпионы русского посольства скоро выследили бы меня, я прежде всего отправился в Эдинбург.

Случилось, однако, так, что я уже не возвратился в Россию. Меня скоро захватила волна анархического движения, которая как раз к тому времени шла на прибыль в Западной Европе. Я чувствовал, что могу быть более полезен здесь, чем в России, помогая определиться новому движению. На родине меня слишком хорошо знали, чтобы я мог вести открытую пропаганду, в особенности среди работников и крестьян. Впоследствии, когда русское революционное движение стало заговором и превратилось в вооруженную борьбу с самодержавием, всякая мысль о народном движении роковым образом была оставлена. Мои же симпатии влекли меня все больше и больше к тому, чтобы связать свою судьбу с рабочими массами; распространять среди них идеи, способные направить их усилия ко благу всех работников вообще; углубить и расширить идеал и принципы, которые послужат основой будущей социальной революции; развить эти идеалы и принципы перед рабочими не как приказ, исходящий от главарей партии, но как следствие их собственного размышления и, наконец, пробудить их собственный почин теперь, когда работники призваны на поприще истории, чтобы выработать новый и справедливый общественный строй, – все это казалось мне столь же необходимым для развития человечества, как и все

то, что я мог бы выполнить в то время в России. И я присоединился к горсти людей, работавших в этом направлении в Западной Европе, заменив тех, которые были надломлены годами упорной борьбы.

Я никогда не мог освоиться с русским взглядом на пропаганду за границей. Русские товарищи считали меня чуть ли не изменником русскому делу за то, что я отдал свои силы агитации в Западной Европе. Я же думаю, напротив, что, работая для Западной Европы, я и для России сделал, может быть, больше, чем если бы я оставался в России. Все движения в России зарождались под влиянием Западной Европы и носили отпечаток течений мысли, преобладавших в Европе: Петрашевский – фурьерист, Чернышевский – дитя фурьеризма и сенсимонизма. Наше движение семидесятых годов и теперешнее дети Интернационала и Коммуны, европейского Бакунина и европейского же марксизма.

Впрочем, если бы мне пришлось в Западной Европе просто усилить собою ряды существующей окрепшей партии, едва ли бы я остался там. Я ушел бы туда, где нужно было бы пахать новь. Но в 1878–1879 годах, как раз в то время, когда после разгрома нашего движения 1873–1876 годов в России начиналось новое движение, действительно революционного характера, в Юрской федерации, оставшейся единственным оплотом анархизма в Европе, произошло новое распадение. Из всей нашей группы, дружно работавшей до того, остался один я, да еще несколько товарищей рабочих. И мне пришлось два года с ними одними нести всю работу. Но об этом скажу ниже.

Впрочем, главное еще то, что в России я не видел поприща деятельности для себя. В 1876 году, когда я бежал, ничего не делалось в революционных кружках, то есть, вернее, в остатках наших кружков. Все активные люди сидели по тюрьмам. После побега я пробыл около недели в окрестностях Петербурга, видел нескольких из наших бывших товарищей. Все пребывали в унынии безделья. И что было предпринять?

Звать в народ – некого было. Кто мог пойти, уже пошли и были переловлены. Притом вести мирную пропаганду, очевидно, было невозможно. Надо было переходить на боевое положение, а этого-то наша молодежь не хотела. Даже позже, когда под влиянием выстрела Засулич, вооруженного сопротивления якобинцев в Одессе и виселиц небольшая кучка молодежи решила пойти на террор, теоретически отдавая должное внимание деревенским восстаниям, на деле они думали только об одном – терроре политическом для устранения царя. Я же считал, что революционная агитация должна вестись главным образом среди крестьян для приготовления крестьянского восстания. Не то чтобы я не понимал, что борьба с царем необходима, что она выработает революционный дух. Но, по моему, она должна была быть частью агитации, ведущейся в стране, и отнюдь не всеми, и еще менее того – исключительным делом революционной партии.

Лично я не мог себя убедить, чтобы даже удачное убийство царя могло дать серьезные прямые результаты, хотя бы только в смысле политической свободы. Косвенные результаты – подрыв идеи самодержавия, развитие боевого духа, – я знал, будут несомненно. Но для того чтобы всей душой отдаться террористической борьбе против царя, нужно верить в величие прямых результатов, которые можно добыть этим путем. Этому-то я и не мог верить до тех пор, пока террористическая борьба против самодержавия и его сатрапов не шла бы

рука об руку с вооруженною борьбою против ближайших врагов крестьянина и рабочего и не велась бы с целью взбунтовать народ. Но хотя о такого рода агитации и говорилось в программах, особенно «Земли и воли», но на деле никто, за исключением трех-четырех человек вроде, например, Ковалика, Войнаральского, – никто не хотел заниматься ею, а Исполнительный комитет и его сторонники прямо-таки считали такую агитацию вредной. Они мечтали двинуть либералов на смелые поступки, которые вырвали бы у царя конституцию, а всякое народное движение, сопровождающееся неизбежно актами захвата земли, убийствами, поджогами и т. п., по их мнению, только напугало бы либералов и оттолкнуло бы их от революционной партии.

Так и по сию пору стоят дела. Как ни тяжело было бы в мои годы, да еще семейному, тронуться в Россию и окунуться там в революционную агитацию нелегального, скрывающегося агитатора, но и теперь (1899–1900) – если бы я почувствовал необходимость моего там присутствия, нужду во мне – я пошел бы в львиную пасть. Я это пишу совершенно обдуманно, так как часто думал об этом. Но никому-то я не нужен в России, и если бы я попал теперь в Россию, то был бы в положении человека, мешающего делать что-нибудь тем, кто что-нибудь делает, вселяя в них сомнения, а между тем не чувствуя вокруг себя людей, которые в силах были бы сделать что-нибудь лучшее. По этому самому я и не начинал издавать до сих пор никакого журнала для России.

Я глубоко убежден, что в настоящую минуту (лето 1899) для России необходимо крестьянское восстание как единственный исход для теперешнего положения. Но и теперь, как двадцать пять лет тому назад, в интеллигентной молодежи не находится никого, кто бы проникся теми же мыслями. Теперь все взоры обращены на немецкую социал-демократию, успехи которой сильно преувеличиваются в России. Вот если бы в Италии началось народное восстание в широких размерах и привело бы к республиканской революции, вроде Французской революции 1789–1793 годов, тогда другое дело. Или если бы во Франции началось опять-таки народное восстание, которое привело бы к провозглашению коммун во всей Франции и в каждой коммуне – к экспроприации, тогда опять-таки другое дело. Наша молодежь поняла бы тогда значение крестьянского народного восстания и бросилась бы в подготовку такого же восстания в России.

Вот почему я думаю, что работать для приготовления народных восстаний в Европе и для теоретического обоснования будущих движений – еще лучшее средство для приготовления того же в России.

Когда я высадился в Гулле и поехал в Эдинбург, я известил лишь нескольких друзей в России и в Юрской федерации о том, что благополучно прибыл в Англию. Социалист всегда должен жить своим собственным трудом. Поэтому, поселившись в маленькой комнатке в предместье столицы Шотландии, я тотчас же принялся подыскивать какую-нибудь работу.

Между пассажирами на нашем пароходе был профессор норвежец, с которым я беседовал, стараясь припоминать то немногое, что знал когда-то по-шведски. Профессор говорил по-немецки.

– Но так как вы говорите немного по-норвежски, – сказал он, – и пытаетесь научиться этому языку, то будем беседовать по-норвежски.

– Вы хотите сказать, по-шведски, – нерешительно заметил я. – Ведь я говорю по-шведски, не правда ли?

– Гм! Я, скорее, думал бы, что это норвежский язык. Во всяком случае, не шведский, – ответил он.

Таким образом, со мной случилось то же самое, что с Паганелем, героем романа Жюль Верна, изучившим по рассеянности вместо испанского португальский язык.

Как бы то ни было, мы много беседовали с профессором... скажем, по-норвежски. Он дал мне, между прочим газету, выходящую в Христианин. В ней был помещен отчет о норвежской экспедиции, только что возвратившейся после исследования глубин северной части Атлантического океана.

Поселившись в Эдинбурге, я сейчас же написал заметку об этой экспедиции по-английски для «Nature», которую мы с братом аккуратно читали в Петербурге с самого первого ее появления. Помощник редактора поблагодарил меня за заметку и прибавил с деликатностью, которую я потом часто встречал здесь, что мой английский язык «совсем хорош», но только в нем должно быть «больше характерных особенностей, свойственных этому языку». Нужно сказать, что выучился я английскому языку в России. Вместе с братом мы перевели «Философию геологии» Пэджа и «Основы биологии» Герберта Спенсера. Но так как учился я только по книгам, то произносил очень плохо, и квартирная моя хозяйка шотландка, с великим трудом понимала меня. С ее дочерью мы часто объяснялись письменно, на клочках бумаги. Что касается «характерных особенностей английского языка», то, должно быть, я делал самые забавные ошибки. Помню, например, уморительную историю по поводу чашки чая. Вследствие моего несовершенного знания языка, хозяйка приняла меня, вероятно, тогда за опивалу из детской сказки. Должен прибавить в мою защиту, что ни в книгах по геологии, которые я читал по-английски, ни в биологии Спенсера я не встретил ни малейшего намека по такому важному предмету, как чаепитие.

Я выписал «Известия Русского географического общества» и скоро начал посылать в «Times» случайные заметки о русских географических экспедициях. Пржевальский был тогда в Средней Азии, и за его путешествием следили в Англии с большим интересом.

Тем не менее деньги, которые я привез с собою, быстро таяли, а так как все мои письма в Россию перехватывались, то я не мог указать родственникам моего адреса. Поэтому я отправился через несколько недель в Лондон, соображая, что здесь найду более правильную работу. П. Л. Лавров все еще издавал здесь «Вперед», но так как я рассчитывал скоро возвратиться в Россию, а за редакцией русской газеты, наверно, следили шпионы, то я не пошел туда.

Нигде жизнь эмигранта не бывает так тяжела, как в Лондоне. Когда человек обживется, найдет постоянный заработок, тогда он может даже полюбить Лондон за независимость жизни и за относительную свободу. Но первое время иностранцу в Лондоне, особенно

рабочему, чрезвычайно тяжело.

Поселившись в Лондоне, я прежде всего отправился, само собою разумеется, в «Nature», где меня очень хорошо принял помощник редактора Кельти. Оказалось, что издатель желал расширить отдел заметок и находил, что я составляю их именно как нужно. Мне поэтому отвели в редакции стол, на котором сложили груды научных журналов на всяких языках.

– Приходите по понедельникам, г-н Левашов, – сказали мне, пересматривайте эти журналы, и, если вы встретите что-нибудь заслуживающее внимания, напишите заметку или же отметьте статью. Мы ее тогда пошлем специалисту.

Кельти не знал, конечно, что я переписывал каждую заметку по три и четыре раза, прежде чем решался показать ему мой английский язык. Но мне разрешили брать научные журналы домой, и скоро я мог жить на маленький гонорар из «Nature» и «Times». Последний платил случайным сотрудникам еженедельно, по четвергам, и я находил этот обычай великолепным. Конечно, бывали недели, когда я не мог дать никаких интересных сведений про Пржевальского и когда мои заметки о других частях России не попадали в печать как лишённые интереса. В эти недели я довольствовался чаем и хлебом.

Раз как-то Кельти достал с полки несколько русских книг и попросил меня написать рецензию о них для «Nature». Я взглянул на книги и – к немалому моему затруднению – увидел мои собственные работы о ледниковом периоде и об орографии Азии. Брат не преминул послать их в свой любимый журнал. Я был в большом недоумении и, сложив книги в саквояж, понес их домой, чтобы обдумать дело на досуге. «Ну, что я стану с ними делать? – спрашивал я себя. – Хвалить их я не могу, а ругать автора – тоже не согласен, так как разделяю его взгляды». Наконец я решил отнести книги назад на другой день и объяснить Кельти, что хотя я и назвался ему Левашовым, но на деле я – автор этих книг, а потому не могу писать о них рецензии.

Кельти читал уже в газетах о побеге Кропоткина и с большим удовольствием узнал теперь о том, что он в безопасности на английской почве. Что касается моих сомнений, Кельти резонно заметил, что мне незачем ни хвалить, ни разносить автора: я могу просто изложить содержание его трудов. С того дня у нас завязалась дружба, продолжающаяся до сих пор.

В ноябре или в декабре 1876 года я прочел в «почтовом ящике» «Вперед», что К. приглашается зайти в редакцию для получения письма из России. Думая, что это относится ко мне, я заглянул в редакцию. Скоро я подружился как с П. Л. Лавровым, так и с молодежью, набравшею журнал.

Я думал, что никто меня не узнает, когда я в первый раз постучался в двери редакции – бритый, в цилиндре, и спросил у дамы, открывшей мне, на моем наилучшем английском языке: «Дома ли мистер Лавров?» Я не назвал себя. Оказалось, однако, что дама, никогда не выдавшая меня, но знавшая брата в Цюрихе, тотчас узнала меня и побежала наверх сказать, кто пришел.

– Я вас сейчас же узнала, – говорила она мне потом, – по глазам: они напомнили мне вашего брата.

В тот раз я недолго пробыл в Англии. Мне хотелось более живой деятельности, чем журнальная и литературная работа. С первых же дней я пробовал завязать знакомство с рабочими, и я начал с ними беседы по вопросам социализма. Но тогда (1876) английские рабочие о социализме и слышать не хотели. Дальше тред-юнионизма и кооперации они не шли.

Не знаю, что я стал бы делать в Лондоне дальше, если бы мои швейцарские друзья вскоре не нашли мне постоянной работы в Швейцарии. Я находился в оживленной переписке с моим другом Джемсом Гильомом из Юрской федерации. И как только я нашел постоянную географическую работу, которую мог делать и в Швейцарии, то сейчас же перебрался туда. Письма, полученные наконец из России, говорили мне, что я могу спокойно оставаться за границей, так как никакого особенного дела на родине не предвидится. Волна энтузиазма прокатилась в то время над Россией в пользу славян, восставших против векового турецкого гнета. Мои лучшие друзья – Сергей Степняк, Дмитрий Клеменц и многие другие – отправились на Балканский полуостров, чтобы присоединиться к инсургентам. Друзья писали мне: «Мы читаем корреспонденции “Daily News” о турецких зверствах в Болгарии, мы плачем при чтении и идем записываться в отряды инсургентов как добровольцы или как сестры милосердия».

Должно быть, в январе 1877 года я был уже в Швейцарии, присоединился к Юрской федерации Интернационала и здесь начал свою анархическую деятельность, поселившись в Шо-де-Фоне.

II. Интернационал и немецкая социал-демократия. Развитие Интернационала во Франции, в Испании и в Италии

Юрская федерация Интернационала сыграла важную роль в современном развитии социализма.

Всегда случается так, что, после того как политическая партия поставит требования и заявит, что удовлетворится только выполнением этой программы, она вскоре разделится на две фракции. Одна остается тем, что была; другая же, хотя и заявляет, что не поступилась ни буквой, принимает некоторого рода компромиссы и постепенно от компромисса к компромиссу отступает от первоначальной программы и становится партией умеренных реформ.

Подобный раскол произошел и в Международном союзе работников. Открытым намерением союза при возникновении было уничтожение частной собственности и передача самим производителям всех орудий, необходимых для производства богатств. Работников всех наций призывали образовать свои собственные организации для прямой борьбы против капитализма. Им предлагалось выработать средства, как социализировать производство

необходимых для жизни людей продуктов и их потребление. И когда работники будут достаточно подготовлены, они должны завладеть орудиями производства и организовать потребление без всякого отношения к современному политическому строю, который должен быть совершенно переделан. Союз, таким образом, имел задачей подготовить громадный переворот сперва в умах, а затем в самой жизни. Союзу предстояло произвести революцию, которая открыла бы для человечества новую эру прогресса, основанного на всеобщей солидарности. Таков был идеал, пробудивший от сна миллионы европейских работников и привлекий в союз лучшие умственные силы того времени.

Вскоре, однако, в Интернационале стали намечаться две фракции. Когда война 1870 года кончилась полным поражением Франции и Парижская Коммуна была разгромлена, а против Международного союза проведены были драконовские законы, лишавшие французов возможности участвовать в движении; когда, с другой стороны, в «объединенной» Германии, о создании которой немцы мечтали с 1848 года, введен был парламентский строй, немцы сделали попытку изменить цели и методы всего социалистического движения. Лозунгом социал-демократии, как называлась новая партия, стало – завоевание власти в существующем государстве. Первые успехи этой партии на выборах в рейхстаг возбудили большие надежды. Число депутатов социал-демократов было сперва два, потом семь, потом девять; поэтому даже рассудительные люди вычисляли, что к концу XIX столетия социал-демократы будут иметь большинство в германском парламенте и путем законодательных мер смогут установить народное социалистическое государство. Социалистический идеал этой партии мало-помалу утратил свой характер. Вместо общественного строя, который должен был выработаться самими рабочими организациями, был выставлен идеал государственного заведования промышленностью, то есть государственный социализм, или, вернее, государственный капитализм. Так, например, в настоящее время в Швейцарии усилия социал-демократов в политическом отношении направлены к централизации и к борьбе с федерализмом, а в отношении экономическом – к эксплуатации железных дорог государством и к государственной монополии в банковом деле и в продаже спиртных напитков. Государственное же заведование землею и главными крупными отраслями промышленности, а равно и организация потребления, будет, говорят нам, следующий шаг в более или менее отдаленном будущем.

Мало-помалу жизнь и деятельность Германской социал-демократической партии совершенно подчинились соображениям о выборах в парламент. На рабочие союзы социал-демократы стали смотреть как на подсобные организации для политической борьбы, а к стачкам относились неодобрительно, потому что они отвлекают внимание работников от выборной борьбы. Социал-демократические вожди в то же время относились к каждому народному движению и к каждой революционной агитации – в какой бы то ни было стране в Европе – еще более враждебно, чем капиталистическая печать.

В латинских странах, однако, новое течение нашло весьма мало последователей. Секции и федерации Интернационала оставались верны принципам, которые были установлены при возникновении союза. Федералисты в силу своей истории и враждебные к мысли о централизованном государстве, обладая притом революционными традициями, рабочие латинских стран не могли последовать за эволюцией, происходившей у немцев.

Распадение социалистического движения на две ветви определилось тотчас же после франко-германской войны. Как я уже упомянул, Интернационал создал себе центральное правление в лице Генерального совета, пребывавшего в Лондоне. И так как душой Совета были два немца, Энгельс и Маркс, то он вскоре стал главной крепостью нового социал-демократического движения. Вдохновителями же и умственными вождями латинских федераций стали Бакунин и его друзья.

Разлад между марксистами и бакунистами отнюдь не был делом личного самолюбия. Он представлял собою неизбежное столкновение между принципами федерализма и централизации, между свободной коммуной и отеческим управлением государства, между свободным творческим действием народных масс и законодательным улучшением существующих условий, созданных капиталистическим строем...

На Гаагском конгрессе Интернационала, состоявшемся в 1872 году, лондонский Генеральный совет путем фиктивного большинства исключил из Международного союза рабочих Бакунина, его друга Гильома и всю Юрскую федерацию. Но так как было несомненно, что Испанская, Итальянская и Бельгийская федерации примут сторону юрцев, то конгресс попытался распустить Интернационал. Он постановил, что новый Генеральный совет, состоящий из нескольких социал-демократов, будет заседать в Нью-Йорке, где не существовало рабочих организаций, которые могли бы контролировать Совет. С тех пор так о нем и не слышали, тогда как Испанская, Итальянская, Бельгийская и Юрская федерации продолжали существовать еще лет пять или шесть и ежегодно собирались на обычные конгрессы.

В то время как я приехал в Швейцарию, Юрская федерация была центром и наиболее известным выразителем Интернационала. Бакунин только что умер в Берне (1 июля 1876 года), но федерация удерживала то же положение, которое заняла под его влиянием. Через месяц после смерти Бакунина в Берне же собрался конгресс Интернационала. Решено было на могиле Бакунина сделать попытку примирения между марксистами и бакунистами. Гильом писал мне об этом, но я предвидел, что из этого ничего не выйдет. Но Гильом искренно желал примирения и искренно хотел протянуть руку. Примирение отчасти было налажено. Каждой стране предоставлялось право придавать социалистической деятельности тот характер, какой найдут нужным. Если Германии больше всего подходит парламентская социал-демократическая деятельность – пусть так и будет. Анархисты не станут нападать за это на немцев. Но зато пусть и немцы предоставят Италии, Испании, Швейцарии и Бельгии идти своим путем, не прибегая к таким гнусностям, как, например, обвинение Бакунина в шпионстве, в котором обвиняли Бакунина марксисты в пятидесятых годах.

Либкнехт с Бебелем, приехавшие на Бернский конгресс, ручались за это от имени партии.

И вдруг среди этих примирительных излияний в Женеве выходит громоносная и ядовитая статья Беккера против бакунистов. Эта статья разожгла страсти, и между марксистами и бакунистами снова разгорелась вражда.

Положение дел во Франции, Испании и Италии было таково, что только благодаря тому, что революционный дух, развившийся между работниками раньше франко-прусской войны, поддерживался Интернационалом, правительства не решались раздавить все рабочее движение и начать царство белого террора. Известно, что вступление на французский престол графа Шамбора, одного из Бурбонов, едва не стало совершившимся фактом. Мак-Магон оставался президентом республики только для того, чтобы подготовить реставрацию монархии. Самый день торжественного въезда нового императора Генриха V в Париж был уже назначен; даже хомуты, украшенные королевской короной и вензелем, были уже готовы. Известно также, что реставрация монархии не удалась потому, что Гамбетта и Клемансо, оппортунист и радикал, организовали в значительной части Франции ряд вооруженных комитетов, готовых восстать, как только начнется государственный переворот. Но главную силу этих комитетов составляли рабочие, из которых многие принадлежали прежде к Интернационалу и сохранили прежний дух. И я могу сказать на основании того, что знаю лично, что, если бы радикальные вожди буржуазии поколебались в решительный момент, рабочие, наоборот, в этих комитетах, особенно на юге, воспользовались бы первой возможностью, чтобы поднять восстание, которое, начавшись для защиты республики, пошло бы дальше в социалистическом направлении.

То же самое можно сказать и об Испании. Как только духовенство и аристократия, окружавшие короля, толкали его на путь реакции, республиканцы сейчас же грозили восстанием, в котором, как они знали, действительно боевым элементом выступят рабочие. В одной Каталонии тогда было более ста тысяч рабочих, организованных в сильные союзы, более восьмидесяти тысяч испанцев принадлежали к Интернационалу, правильно собирались на конгрессы и аккуратно платили свои членские взносы с чисто испанским сознанием долга. Я говорю об этих организациях на основании личного знакомства на месте. Я знаю, что они готовились провозгласить федеративную испанскую республику и отказаться от колоний, а в тех местностях, которые способны были идти дальше, сделали бы попытки в смысле коллективизма. Один только постоянный страх восстания удержал испанскую монархию от разгрома всех рабочих и крестьянских организаций и от грубой клерикальной реакции.

Подобные же условия господствовали и в Италии. В северной ее части рабочие союзы еще не достигли тогда такого развития, как теперь, но различные части страны были усеяны секциями Интернационала и республиканскими группами. Монархия жила под вечным страхом свержения, если республиканцы средних классов обратятся к революционным элементам среди рабочих.

Одним словом, вспоминая теперь прошлое, отделенное четвертью века, я с уверенностью могу сказать, что если Европа не погрузилась после 1871 года в мрак самой тяжелой реакции, то обуславливается это главным образом тем революционным духом, который пробудился на Западе до франко-прусской войны и поддерживался после разгрома Франции анархическими элементами Интернационала: бланкистами, мадзинианцами и испанскими «кантоналистами» (федеративными республиканцами).

Конечно, марксисты, поглощенные всецело своею местною избирательною борьбою, мало знали обо всем этом. Страшась навлечь на свои головы бисмарковские громы и боясь

больше всего, чтобы в Германии не проявился революционный дух и не повел бы к репрессиям, которых они, не будучи достаточно сильными, не могли встретить лицом к лицу, социал-демократы из тактических соображений не только относились отрицательно ко всем западным революционерам, но мало-помалу прониклись ненавистью к революционному духу вообще. Они злобно обличали его, где бы он ни проявился, даже тогда, когда усмотрели первые его проявления в России.

Случалось ли, что Вера Засулич выстрелила в Трепова, или что русские студенты с рабочими устроили демонстрацию на Казанской площади, или что рабочие в таком-то городе в Италии или в Испании сожгли таможенные будки или отказались платить налоги, или, наконец, произошла где-нибудь революционная шутка, как, например, на колокольню нацепили красный флаг в ночь на 18 марта, «Vorwärts» («Форвертс») изливал тотчас же свой яд и весь свой словарь истинно немецкой ругани и на Засулич, и на русских студентов, и на казанскую демонстрацию, и на итальянских и испанских рабочих, осмелившихся дать выход своему бунтовскому духу. «Putschmacher»'ы («вспышкопускатели») – писали презрительно в «Форвертсе» и восхваляли свою тактику, благодаря которой никто не смел и полицейскому ответить дерзостью на дерзость, храня всю свою энергию на тот день, когда придется уговаривать рабочих подавать свои голоса на выборах за того или другого социал-демократического депутата.

При Мак-Магоне невысказанно было издавать революционные газеты во Франции. Даже пение «Марсельезы» считалось преступлением. Помню, как меня поразил тот ужас, который охватил моих попутчиков третьего класса, когда несколько новобранцев затащили на платформе революционную песню: то было в мае 1878 года! «Разве опять позволено петь «Марсельезу»?» – спрашивали они тревожно друг друга... Таким образом, социалистических газет во Франции не было. Испанские газеты издавались очень хорошо, и некоторые манифесты испанских конгрессов прекрасно излагали принципы анархического социализма. Но кто же за пределами Испании знает что-нибудь об ее идеалах? Что же касается до итальянских газет, то они все были недолговечны: появлялись, исчезали и снова возникали под другими названиями; и, несмотря на то что некоторые из них были превосходны, никто их не знал за пределами Италии. Поэтому Юрская федерация, с ее газетами на французском языке, стала очагом, где поддерживался и формулировался в латинских странах тот дух, который, повторяю это снова, спас Европу от мрачного периода реакции. Юрская федерация явилась также почвой, на которой теоретические положения анархизма были разработаны Бакуниным и его последователями на языке, понятном на материке Европы.

III. Юрская федерация и ее деятели: Гильом, Швицгебель, Шпихигер, Элизэ Реклю, Лефрансэ и другие

В то время к Юрской федерации принадлежало несколько замечательных людей различных национальностей, большею частью личные друзья Бакунина. Редактором нашей главной

газеты «Bulletin de la Federation Jurassienne» был Джемс Гильом, учитель по профессии, принадлежавший к одной из старинных фамилий Невшателя. Среднего роста и худощавый, напомилавший несколько Робеспьера своей внешностью и решительностью ума, он вместе с тем обладал золотым сердцем, которое раскрывалось только в интимной дружбе. Он был прирожденный руководитель людей по изумительной способности работать и по своей упорной деятельности. Восемь лет боролся он со всякими препятствиями, чтобы поддержать существование газеты, принимая в то же время самое деятельное участие во всех мельчайших делах федерации, покуда ему не пришлось оставить Швейцарию, где он не мог более найти никакой работы. Тогда он поселился во Франции, и здесь его имя со временем будет упомянуто с почтением в истории освобождения народной школы от влияния попов.

Юрской федерацией была издана брошюра, написанная Гильомом, «Idees sur L'Organisation Sociale». Брошюра Гильома содержит изложение анархического политического идеала, как он вырабатывался в Юрской федерации. Союз производственных и ремесленных рабочих союзов, без государства вступающих в прямое соглашение для обмена товаров, ими производимых, был ответом на идеал централизованных государств, который в то время разделяли все коммунисты-государственники, в том числе и социал-демократы.

Другой деятель Юрской федерации, Адемар Швицгелль, тоже швейцарец родом, был типичный представитель тех веселых, жизнерадостных, проникательных часовщиков из французской Юры, которых можно встретить в предгорьях бернского кантона. Гравировщик часовых крышек по ремеслу, он никогда не пытался оставить ручного труда и, вечно веселый и деятельный, поддерживал свою большую семью даже во время кризисов, когда в работе бывал застой и заработки становились очень скудными. Швицгелль обладал поразительной способностью схватить сразу трудный политический или экономический вопрос и, хорошенько обдумав его, изложить ясно, просто с точки зрения рабочего, не отнимая у него при этом ни глубины, ни значения. Его знали везде «в горах», и при встрече на конгрессах с рабочими других стран он всегда был общим любимцем.

Прямую противоположность Швицгеллю составлял другой швейцарец, тоже часовщик, Шпихигер. Он был философ, медлителен в движениях и в мысли, англичанин по наружности. Во всяком вопросе Шпихигер стремился добраться до самого корня и поражал нас верностью своих выводов, к которым доходил всесторонним размышлением, в то время как он просиживал дни за своим гильошерным станком.

Вокруг этих трех людей группировалось несколько серьезных, развитых работников – иные средних лет, другие старики, все страстно любившие свободу и с восторгом принявшие участие в таком великом движении, и еще около сотни пылких, бойких молодых людей, тоже большею частью из часовщиков. Все они отличались независимостью образа мыслей, ласковостью и горячею преданностью делу, ради которого готовы были на всякие жертвы. Несколько бывших коммунаров, живших в изгнании, вошли в федерацию. В числе их был великий географ Элизэ Реклю, типичный пуританин в своих манерах и в жизни, а с интеллектуальной точки зрения – французский философ-энциклопедист XVIII века; вдохновитель других, который никогда не управлял и никогда не будет управлять никем; анархист, у которого анархизм является выводом из широкого и основательного изучения

форм жизни человечества во всех климатах и на всех ступенях цивилизации, чьи книги считаются в числе лучших произведений XIX века и чей стиль поражает красотой и волнует ум и совесть. Когда он входил в редакцию анархической газеты, то первый его вопрос, хотя бы редактор был мальчик по сравнению с ним: «Скажите, что мне делать?» И, получив ответ, он садился, как простой газетный чернорабочий, чтобы заполнить столько-то строк для следующего номера. Во время Коммуны Реклю просто взял ружье и стал в ряды. А когда он приглашал сотрудника для какого-нибудь тома своей всемирно известной географии и тот робко спрашивал: «Что мне нужно делать?» – Реклю отвечал: «Вот книги, вот стол. Делайте, что хотите».

Товарищем его был пожилой Лефрансэ, бывший учитель, трижды находившийся в изгнании: после июньских дней 1848 года, после наполеоновского государственного переворота и после 1871 года. Он был членом Коммуны, то есть из числа тех, о которых говорили, что они после Коммуны унесли в своих карманах миллионы франков. О достоверности этих утверждений буржуазной прессы можно судить по тому, что Лефрансэ работал как багажный на железнодорожной станции в Лозанне и раз едва не был убит при разгрузке, требовавшей более молодых плеч, чем его. Книга Лефрансэ о Парижской Коммуне единственная, в которой действительное историческое значение движения представлено в настоящем свете.

– Я – коммунист, а не анархист, если вам угодно, – говорил он. – Я не могу работать с такими безумцами, как вы!

А между тем он не работал ни с кем, как только с нами. «Потому что вы безумцы, – говорил он, – именно те люди, которых я могу любить. С вами можно работать, оставаясь самим собою».

С нами жил еще другой член Парижской Коммуны, Пэнди, столяр из Северной Франции, приемное дитя Парижа. Он приобрел большую известность в Париже своей энергией и ясным умом во время одной большой стачки, поддержанной Интернационалом, вскоре после основания союза рабочих. В 1871 году его выбрали членом Коммуны, которая назначила его комендантом тюильрийского дворца. Когда версальские войска вступили уже в Париж, истребляли пленных сотнями, в разных концах города расстреляли по крайней мере троих, которых приняли за Пэнди. После битвы его укрыла, однако, храбрая девушка-швея, своим хладнокровием спасшая его, когда солдаты пришли обыскивать дом. Впоследствии она стала его женой. Когда солдаты обыскивали квартиру, Пэнди вошел с ведром воды. Скрываться было поздно. Но молодая швея не растерялась. Она назвала Пэнди своим братом и предложила солдатам по стакану вина. Пэнди стоял рядом. Солдаты побеседовали, выпили вино и пошли в другие квартиры. Только год спустя Пэнди с женой удалось незаметно выбраться из Парижа и добраться до Швейцарии. Здесь он изучил ремесло пробирщика. Целые дни проводил он теперь у раскаленного горна, вечера же всецело отдавал пропаганде, в которой удивительно сочетал страстность революционера с здравым смыслом и организаторской способностью, характеризующими парижских рабочих.

Поль Брусс был тогда молодой доктор, необыкновенно живого ума, шумный, едкий и живой, готовый развить любую идею с геометрической последовательностью до крайних ее

пределов. Его критика государства и государственных учреждений отличалась особой едкостью и силой. Брусс находил время издавать две газеты: одну французскую, другую немецкую (не зная немецкого языка), писать десятки длинных писем и быть душою рабочих вечеринок. Он постоянно был занят организацией новых групп, со всей пылкостью ума настоящего француза-«южанина».

Из итальянцев, работавших с нами в Швейцарии, в особенности замечательны были два близких друга Бакунина – Кафиеро и Малатеста, имена которых всегда упоминаются вместе и будут поминаться в Италии не одним поколением. Кафиеро – возвышенный и чистый идеалист, отдавший все свое состояние общему делу и никогда не задававшийся вопросом, чем он будет жить потом, мыслитель, вечно погруженный в философские соображения; человек самый незлобивый, а между тем он взялся за ружье и пошел в горы Беневенто, когда он и друзья его решили, что надо сделать попытку социалистического восстания, хотя бы только с целью доказать народу, что крестьянский бунт должен быть серьезнее простого возмущения против сборщиков податей. Малатеста – бывший студент медицины, отказавшийся от ученой профессии и от состояния ради революции: чистый идеалист, полный жара и ума. За всю свою жизнь он никогда не думал о том, будет ли у него кусок хлеба на обед и место, где переночевать сегодня. Не имея своего угла, он готов продавать мороженое на улицах Лондона, чтобы заработать на хлеб, а по ночам будет писать блестящие статьи для итальянских газет. Во Франции его посадили в тюрьму, освободили и изгнали; в Италии он был вторично осужден и сослан на остров, откуда бежал и снова под другим именем явился в Италию. Малатесту всегда можно найти там, где борьба кипит особенно жарко: все равно – на родине или вне ее. И эту жизнь он ведет вот уже тридцать лет. И когда мы встречаем Малатесту после освобождения из тюрьмы или после побега с острова, мы находим его таким же бодрым, каким видели его в последний раз. Вечно он готов начать сызнова борьбу, постоянно он поражает тою же любовью к человечеству и тем же отсутствием ненависти к своим противникам и тюремщикам; всегда у него готова сердечная улыбка для друзей и ласка для ребенка.

Среди нас было очень мало русских, потому что большинство соотечественников шло за социал-демократами. С нами находился, однако, старый друг Герцена Н. И. Жуковский, оставивший Россию в 1863 году: блестящий, изящный человек, очень умный и большой любимец рабочих. Больше, чем кто бы то ни было из нас, он имел то, что французы называют *l'orgueille du peuple*. Рабочие всегда слушали его охотно, так как он умел зажечь сердца народа, показывая ему то важное участие, которое он должен принять в переустройстве общества. Он умел поднять настроение, открывая работникам блестящие исторические перспективы; умел сразу осветить самый запутанный экономический вопрос и наэлектризовать слушателей своею искренностью и убежденностью. Временно работал также с нами бывший офицер генерального штаба Н. В. Соколов, поклонник Поля Луи Курье – за его смелость, и Прудона – за его философские взгляды. Соколов обратил многих в России в социализм своими статьями в «Русском слове» и книгой «Отщепенцы».

Упоминаю только тех, которые получили широкую известность как писатели, как делегаты на конгрессах или как организаторы. А между тем я спрашиваю себя: не лучше ли писать о тех, которые никогда не печатались, но тем не менее принимали такое же важное участие в жизни федерации, как любой из писателей? Не лучше ли помянуть рядовых бойцов, всегда

готовых примкнуть ко всякому движению, никогда не задаваясь вопросом, будет ли дело крупно или мелко, славно или скромно? Будет ли оно иметь великие последствия или только принесет бесконечные тревоги им и их семьям?

Я должен был бы также упомянуть о немцах Вернере и Ринке, которые пешком пропутешествовали на конгресс Интернационала из Швейцарии в Бельгию; об испанце Альбарасине, студенте, которого стачка в Алькое вынесла главою Алькойской Коммуны, и про многих других; но боюсь, что мои беглые наброски не смогут внушить читателям всего того чувства уважения и любви, с которым относились к этой маленькой семье все, знавшие членов ее лично.

Когда я вошел в Юрскую федерацию, все мое время поглощалось заботами о пропаганде и агитации. Но уже я видел, как много следует и нужно сделать для научного и философского обоснования анархизма. Но занялся я этим делом только позже, в 1879 году, когда начал издавать «Le Revolte». Заботы о повседневной пропаганде поглощали у меня все время в первые годы.

IV. Пребывание в Шо-де-Фоне.

Воспращение красного знамени в Швейцарии. Новый общественный строй

Из всех известных мне швейцарских городов Шо-де-Фон, быть может, наименее привлекательный. Он лежит на высоком плоскогорье, совершенно лишенном растительности, и открыт для пронизывающего ветра, дующего здесь зимой. Снег здесь выпадает такой же глубокий, как в Москве, а тает и падает он снова так же часто, как в Петербурге. Но нам было важно распространить наши идеи в этом центре и придать больше жизни местной пропаганде. Здесь жили Пэнди, Шпихигер, Альбарасин и бланкисты Ферре и Жало. Время от времени я мог навещать отсюда Гильома в Невшателе и Швицгебеля в долине Сент-Имье.

Для меня началась жизнь, полная любимой деятельности. Мы устраивали многочисленные сходки, для которых сами разносили афиши по кафе и мастерским. Раз в неделю собирались наши секции, и здесь поднимались самые оживленные рассуждения. Отправлялись мы также проповедовать анархизм на собрания, созываемые политическими партиями. Я разъезжал очень много, навещая другие секции, и помогал им.

В ту зиму мы заручились симпатиями многих, хотя сильной помехой правильной работе являлся кризис в часовом деле. Половина работников сидела без работы или была занята только несколько часов в неделю. Поэтому муниципалитетам пришлось открыть дешевые столовые. Кооперативная мастерская, основанная в Шо-де-Фоне анархистами, в которой

заработки распределялись поровну между участниками, с большим трудом доставала себе работы, несмотря на свою почетную репутацию. Шпихигеру, одному из лучших гильошеров, пришлось даже некоторое время зарабатывать средства к жизни расческой шерсти для одного обойщика.

Мы все в том году (1877) приняли участие в демонстрации с красным знаменем в Берне. Волна реакции дошла и до Швейцарии, и, наперекор конституции, бернская полиция воспретила носить рабочее знамя на улицах. Необходимо было показать поэтому, что по крайней мере в некоторых местах работники не допустят попрания своих прав и станут сопротивляться. В день годовщины Парижской Коммуны мы все отправились в Берн, чтобы, несмотря на запрещение, пройти по улицам с красными знаменами. Конечно, произошло столкновение с полицией, в котором два товарища получили сабельные удары, а два полицейских были ранены довольно тяжело. Но одно красное знамя донесли-таки благополучно до зала, где состоялся восторженный митинг. Нечего прибавлять, что так называемые вожаки были в рядах и дрались вместе со всеми. К ответственности было привлечено около тридцати швейцарских граждан, которые все сами заявляли следователю, что приняли участие в демонстрации, и требовали, чтобы их судили. Раненные полицейские немедленно выступили вперед и заявили, что это сделали они. Суд пробудил немалую симпатию к нашему делу. Вместо равнодушных людей мы увидели внимательную публику, отчасти сочувствовавшую нам. Ничто не завоевывает народ, как смелость. Многие поняли, что все вольности нужно упорно защищать, чтобы их не отняли. Приговор поэтому был сравнительно мягкий и не превосходил трехмесячного заключения.

Однако бернское правительство воспретило вслед за этим красное знамя во всем кантоне. Тогда Юрская федерация решила выступить с ним, несмотря на все запрещения, в Сент-Имье, где должен был состояться наш годичный конгресс, и защищать его – в случае надобности – с оружием в руках. На этот раз мы были вооружены и приготовились защищать наше знамя до последней крайности. На одной из площадей, по которым мы должны были пройти, расположился полицейский отряд, чтобы остановить нашу процессию, а в соседнем поле взвод милиции упражнялся в учебной стрельбе. Мы хорошо слышали выстрелы стрелков, когда проходили по улицам города. Но когда наша процессия появилась под звуки военной музыки на площади и ясно было, что полицейское вмешательство вызовет серьезное кровопролитие, то нам предоставили спокойно идти. Мы, таким образом, беспрепятственно дошли до зала, где и состоялся наш митинг. Никто из нас особенно не желал столкновения; но подъем, созданный этим шествием в боевом порядке, при звуках военной музыки, был таков, что трудно сказать, какое чувство преобладало среди нас, когда мы добрались до зала: облегчение ли, что боевой схватки не произошло, или же сожаление о том, что все обошлось так тихо. Человек – крайне сложное существо.

Главная наша деятельность состояла в формулировке социалистического анархизма в теории и в практических его приложениях. И в этом направлении Юрская федерация выполнила работу, которая не умрет.

Мы замечали, что среди культурных наций зарождается новая форма общества на смену старой: общество равных между собою. Члены его не будут более вынуждены продавать свой труд и свою мысль тем, которые теперь нанимают их по своему личному усмотрению.

Они смогут прилагать свои знания и способности к производству на пользу всех; и для этого они будут складываться в организации, так устроенные, чтобы сочетать наличные силы для производства наивозможно большей суммы благосостояния для всех, причем в то же время личному почину будет предоставлен полнейший простор. Это общество будет состоять из множества союзов, объединенных между собою для всех целей, требующих объединения, – из промышленных федераций для всякого рода производства: земледельческого, промышленного, умственного, художественного; и из потребительских общин, которые займутся всем касающимся, с одной стороны, устройства жилищ и санитарных улучшений, а с другой – снабжением продуктами питания, одеждой и т. п.

Возникнут также федерации общин между собою и потребительных общин с производительными союзами. И, наконец, возникнут еще более широкие союзы, покрывающие всю страну или несколько стран, члены которых будут соединяться для удовлетворения экономических, умственных, художественных и нравственных потребностей, не ограничивающихся одною только странюю. Все эти союзы и общины будут соединяться по свободному соглашению между собою. Так уже работают теперь сообща железнодорожные компании или же почтовые учреждения различных стран, не имея центрального железнодорожного или почтового департамента, хотя первые руководятся исключительно эгоистическими целями, а вторые принадлежат различным и часто враждебным государствам. Так же действуют метеорологические учреждения, горные клубы, английские спасательные станции, кружки велосипедистов, преподавателей, литераторов и так далее, соединяющиеся для всякого рода общей работы, а то попросту и для удовольствия. Развитию новых форм производства и всевозможных организаций будет предоставлена полная свобода; личный почин будет поощряться, а стремление к однородности и централизации будет задерживаться. Кроме того, это общество отнюдь не будет закристаллизовано в какую-нибудь неподвижную форму: оно будет, напротив, непрерывно изменять свой вид, потому что оно будет живой, развивающийся организм. Ни в каком правительстве не будет тогда представляться надобности, так как во всех случаях, которые правительство теперь считает подлежащими своей власти, его заменит вполне свободное соглашение и союзный договор; случаи же столкновений неизбежно уменьшатся, а те, которые будут возникать, могут разрешаться третейским судом.

Никто из нас не уменьшал важности и величия той перемены, которая нам рисовалась впереди. Мы понимали, что ходячие взгляды о необходимости частной собственности на землю, фабрики, копи, жилища и так далее для развития прогресса промышленности и о системе заработной платы как средстве заставить людей работать еще не скоро уступят место более высоким понятиям об общественной собственности и производстве. Мы знали, что предстоит утомительный период пропаганды, затем долгая борьба и ряд индивидуальных и коллективных возмущений против нынешней формы владения собственностью; что нужны личные жертвы, отдельные попытки переустройства и местные революции, прежде чем изменятся установившиеся теперь взгляды на собственность. Тем более понимали мы, что культурные народы не захотят и не смогут отказаться разом от господствующих теперь идей о необходимости власти, на которых мы все воспитывались. Понадобятся многолетняя пропаганда и длинный ряд отдельных возмущений против властей, а также полный пересмотр всех тех учений, которые извлекаются теперь из истории, прежде чем люди поймут, как они ошибались, когда приписывали своему

правительству и законам то, что в действительности является результатом их собственных привычек и общественных инстинктов. Мы знали все это. Но мы знали также, что, проповедуя преобразование в обоих этих направлениях, мы будем идти с прогрессом, а не против него.

Когда я ближе познакомился с западноевропейскими рабочими и с симпатизирующими им людьми из интеллигенции, я скоро убедился, что они ценят личную свободу гораздо выше, чем личное благосостояние. Пятьдесят лет тому назад рабочие готовы были продать свою личную свободу всякого рода правителям и даже какому-нибудь Цезарю в обмен за обещание материальных благ. Но теперь этого нет. Я убедился, что слепая вера в выборных правителей, даже если они взяты из лучших вожakov рабочего движения, вымирает у работников латинских рас. «Мы прежде всего должны узнать, что нам нужно, а тогда мы это лучше всего сделаем сами», – говорили они; и эта мысль была сильно распространена среди работников, гораздо сильнее, чем можно было бы предположить. Устав Интернационала начинался следующими словами: «Освобождение трудящихся должно быть делом самих трудящихся», и эта мысль пустила глубокие корни в умах. Печальный опыт Парижской Коммуны вполне подтверждал ее.

Когда началось восстание Коммуны, многие из средних классов готовы были сами начать попытки в социалистическом направлении или по крайней мере не противиться им. «Когда мы с братом выходили из наших маленьких комнат на улицу, – сказал мне однажды Элизе Реклю, – люди из зажиточных классов спрашивали нас со всех сторон: “Говорите, что делать? Мы готовы попытаться на новом пути”. Но мы (и тут он ударил себя по лбу) тогда не знали, что им сказать».

Ни одно правительство не имело в своем составе столько представителей крайних партий, как Совет Коммуны, избранный 25 марта 1871 года. В нем были представлены в соответствующей пропорции все оттенки революционных мнений: бланкисты, якобинцы, интернационалисты. А между тем, так как сами рабочие не имели определенных взглядов на социальные реформы, то они и не могли внушить их своим представителям, и потому правительство Коммуны ничего не сделало в этом направлении. Его парализовал уже самый факт оторванности от масс и пребывания в городской думе... И, думая об этом, мы понимали, что ради самого успеха социализма обязательно следует проповедовать идеи безначалия, самодеятельности и свободной личной инициативы – одним словом, идеи анархизма рядом с идеями о социализации собственности и производства.

Мы, конечно, предвидели, что при полной свободе мысли и действия для каждой личности мы неизбежно встретимся с некоторым крайним преувеличением наших принципов. Я видел уже нечто подобное в русском нигилизме. Но мы решили – опыт доказал, что мы не ошиблись, – что сама общественная жизнь при наличности открытой и прямой критики мнений и действий устранил понемногу крайние преувеличения. Мы действовали, в сущности, согласно старому правилу, гласящему, что свобода – наиболее верное средство против временных неудобств, проистекающих из свободы. Действительно, в человечестве есть ядро общественных привычек, доставшееся ему по наследству от прежних времен и недостаточно еще оцененное. Не по принуждению держатся эти привычки в обществе, так как они выше и древнее всякого принуждения. Но на них основан весь прогресс

человечества, и до тех пор, покуда человечество не начнет вырождаться физически и умственно, эти привычки не могут быть уничтожены ни критикой людей, отрицающих ходячую нравственность, ни временным возмущением против них. В этих воззрениях я убеждался все больше и больше, по мере того как росло мое знакомство с людьми и с жизнью.

Мы понимали в то же время, что необходимые перемены в этом направлении не могут быть вызваны одним каким-нибудь человеком, хотя бы и самым гениальным. Они явятся результатом не научного открытия и не откровения, а последствием созидательной работы самих народных масс. Народными массами, не отдельными гениями – выработаны были средневековое обычное право, деревенская община, гильдия, артель, средневековый город и основы международного права.

Многие из наших предшественников пытались нарисовать идеальную республику, основывая ее то на принципе власти, то – в редких случаях – на принципе свободы. Роберт Оуэн и Фурье дали миру свой идеал свободного, органически развивающегося общества в противоположность идеальной общественной пирамиде, внушенной Римскою империею и католическою церковью. Прудон продолжал работу Фурье и Оуэна, а Бакунин применил свое ясное и широкое понимание философии истории к критике современных учреждений, «создавая в то же время, как разрушал». Но все это было только подготовительной работой.

Международный рабочий союз (Интернационал) применил новый метод разрешения задач практической социологии – путем обращения к самим рабочим. Образованные люди, присоединившиеся к Союзу, брались только объяснять рабочим, что происходит в различных странах, разбирать добытые результаты и впоследствии помогать работникам точно выразить свои заключения. Мы не брались выводить из наших теоретических взглядов, каково должно быть идеальное общество; мы только приглашали рабочих исследовать причины настоящего зла и выработать на своих сходках и конгрессах практические основы лучшего общественного строя. Велось же обсуждение так: вопросы, поднятые на международном съезде, рекомендовались всем рабочим союзам как предмет для изучения в течение следующего года. Они обсуждались тогда во всей Европе, на небольших сходках отделов (секций), соответственно с местными нуждами каждой отрасли промышленности. Затем работы отделов представлялись съезду каждой федерации и, наконец, в более обработанной форме вносились на ближайший международный съезд всего Союза. Таким образом, снизу вырабатывались теоретические и практические основы того общества, к которому мы стремились. И Юрская федерация приняла широкое участие в выработке идеалов коллективизма и анархизма.

Что касается меня самого, то, находясь в столь благоприятных условиях, я мало-помалу пришел к заключению, что анархизм – нечто большее, чем простой способ действия или чем идеал свободного общества. Он представляет собою, кроме того, философию как природы, так и общества, которая должна быть развита совершенно другим путем, чем метафизическим или диалектическим методом, применявшимся в былое время к наукам о человеке. Я видел, что анархизм должен быть построен теми же методами, какие применяются в естественных науках; но не на скользкой почве простых аналогий, как это делает Герберт Спенсер, а на солидном фундаменте индукции, примененной к

человеческим учреждениям. И я сделал все, что мог, в этом направлении.

V. Борьба между анархизмом и социал-демократией. Изгнание из Бельгии.

Пребывание в Швейцарии.

Возрождение социализма во Франции

Осенью 1877 года в Бельгии состоялось два конгресса: один Интернационала в Вервье, другой – международный социалистический в Генте. Последний был в особенности важен, так как стало известно, что германские социал-демократы сделают попытку захватить все рабочее движение в Европе в одну организацию, главою которой будет центральный комитет, представляющий продолжение старого Генерального совета Интернационала, но только под новым названием. Поэтому необходимо было отстаивать автономию рабочих организаций в латинских странах, и мы сделали все возможное, чтобы послать достаточное число делегатов на конгресс. Я поехал под именем Левашова; два немца – наборщик Вернер и механик Ринке – прошли пешком почти весь путь от Базеля до Бельгии. И хотя нас было всего только девять анархистов в Генте, нам удалось помешать осуществлению централизационного проекта.

С тех пор прошло четверть века; состоялся ряд международных социалистических конгрессов, и на каждом из них поднималась одна и та же борьба: социал-демократы пытались завербовать все рабочее движение Европы под свое знамя и подчинить своему контролю; анархисты же восставали против этого и старались помешать этому. Сколько сил истрачено понапрасну! Сколько высказано горьких слов, как дробятся силы! И все это потому, что социал-демократы, стремящиеся к «завоеванию власти в существующем государстве», не понимают, что деятельность в этом направлении не может вместить в себя все социалистическое движение! С самого начала социализм стал развиваться в трех направлениях, выразителями которых явились Сен-Симон, Фурье и Роберт Оуэн. Сенсимонизм породил социал-демократию, фурьеризм дал начало анархизму, а учение Оуэна развилось в Англии и в Америке в тред-юнионизм, кооперацию и так называемый муниципальный социализм, причем это движение осталось враждебным государственному социализму социал-демократов, имея при этом точки соприкосновения с анархизмом. Но вследствие нежелания понять, что все три движения стремятся к общей цели тремя различными путями, причем два последних движения вносят свой ценный вклад в прогресс, явилось то, что двадцать пять лет было затрачено на осуществление неосуществимой утопии, которую представило бы собою единое рабочее движение по социал-демократическому образцу.

Гентский конгресс кончился для меня неожиданно.

Через три или четыре дня после начала его бельгийская полиция узнала, кто такой Левашов, и получила приказ арестовать меня за нарушение полицейских постановлений, которое я совершил, назвавшись в гостинице вымышленным именем. Мои бельгийские друзья предупредили меня. Они утверждали, что клерикальное министерство, находившееся у власти, способно выдать меня России, и настаивали на том, чтобы я немедленно оставил конгресс. Друзья не позволили мне даже возвратиться с одного большого митинга в гостиницу. Гильом загородил мне дорогу, заявивши, что он силой воспротивится тому, чтобы я шел в гостиницу. Пришлось мне направиться в другую сторону с несколькими товарищами, и, как только я присоединился к ним, со всех сторон темной площади, на которой находились группы рабочих, раздались свистки и перекликивания вполголоса. Все это имело очень таинственный вид. Наконец, после долгого перешептывания и тихого пересвистывания, группа товарищей повела меня под конвоем к работнику социал-демократу, где мне предстояло переночевать и где меня, анархиста, приняли самым трогательным образом как брата. На следующее утро я опять уехал в Англию, и, вновь высаживаясь на берегах Темзы, я, помнится, вызвал добродушную улыбку у английского таможенного чиновника. Он непременно желал осмотреть мой багаж, а я мог показать ему только крошечный ручной саквояж.

В этот раз я опять недолго оставался в Лондоне. По богатым материалам Британского музея я принялся за изучение Французской революции, именно как зачинаются революции. Но это меня не удовлетворяло: мне нужна была более живая деятельность, и я скоро отправился в Париж. После беспощадного усмирения восстания Коммуны здесь начинало пробуждаться рабочее движение, и мне удалось принять в нем участие. Вместе с итальянцем Костой, несколькими французскими рабочими-анархистами и Жюлем Гедом с его товарищами, которые в то время еще не были узкопартийными социал-демократами и отрицали парламентскую деятельность, мы основывали первые социалистические группы.

Начали мы с очень небольшого. Человек по пяти, по шести мы встречались в кафе; а когда нам удалось собрать сотню рабочих на митинг, мы уже ликовали. Никто не мог предвидеть тогда, что через два года движение так разрастется. Но во Франции дела развиваются особым путем. Когда реакция берет верх, все видимые следы движения исчезают; лишь немногие энтузиасты пробуют плыть против течения. Но вот каким-то таинственным путем, через посредство невидимого впитывания идей, реакция подточена. Зарождается новое течение, а потом вдруг оказывается, что идея, которую все считали уже мертвой, была жива все время, росла и распространялась. И как только открытая агитация становится возможной, выдвигаются сразу тысячи сторонников, существования которых никто не подозревал. «В Париже, – говорил старик Бланки, – всегда есть пятьдесят тысяч человек, которые не принимают никакого участия в сходках и демонстрациях, но как только они почувствуют, что народ может выйти на улицу и там заявить свое мнение, они тотчас же являются и, если нужно, идут на штурм». Так оно было и тогда. Нас было не больше двадцати человек, чтобы вести движение, и мы имели не более двухсот открытых сторонников. На первых поминках Коммуны, в марте 1878 года, нас было не больше двухсот человек. Но два года спустя пришла амнистия для коммунаров, и все рабочее население Парижа высыпало на улицы, чтобы приветствовать возвращающихся. Оно толпилось на их митингах и восторженно принимало изгнанников. Социалистическое движение сразу выросло и увлекло за собою радикалов.

В апреле 1878 года пора оживления в Париже еще не наступила, и в одну прекрасную ночь арестовали Косту и еще одного товарища-анархиста, француза Педуссо. Полицейский суд приговорил их к полутора годам тюрьмы, как членов Интернационала. Я избежал ареста только вследствие ошибки. Полиция искала Левашова и пришла арестовать одного русского студента с очень похожей фамилией. Я уже прописался под моим настоящим именем и прожил в Париже еще около месяца. Затем русские товарищи вызвали меня в Швейцарию.

VI. Мое знакомство с Тургеневым. Его влияние на русскую молодежь.

Тургенев и нигилизм. Базаров. Мое знакомство с Антокольским

Во время этого пребывания в Париже я познакомился с И. С. Тургеневым. Он выразил желание нашему общему приятелю П. Л. Лаврову повидаться со мной и, как настоящий русский, захотел отпраздновать мой побег небольшим дружеским обедом. Я переступил порог квартиры великого романиста почти с благоговением. Своими «Записками охотника» Тургенев оказал громадную услугу России, вселив отвращение к крепостному праву (я тогда не знал еще, что Тургенев принимал участие в «Колоколе»), а последующими своими повестями он принес молодой интеллигентной России не меньшую пользу. Он вселил высшие идеалы и показал нам, что такое русская женщина, какие сокровища таятся в ее сердце и уме и чем она может быть как вдохновительница мужчины. Он нас научил, как лучшие люди относятся к женщинам и как они любят. На меня и на тысячи моих современников эта сторона писаний Тургенева произвела неизгладимое впечатление, гораздо более сильное, чем лучшие статьи в защиту женских прав. Повесть Тургенева «Накануне» определила с ранних лет мое отношение к женщине, и, если мне выпало редкое счастье найти жену по сердцу и прожить с ней вместе счастливо больше двадцати лет, этим я обязан Тургеневу.

Внешность Тургенева хорошо известна. Он был очень красив: высокого роста, крепко сложенный, с мягкими седыми кудрями. Глаза его светились умом и не лишены были юмористического огонька, а манеры отличались той простотой и отсутствием аффектации, которые свойственны лучшим русским писателям. Голова его сразу говорила об очень большом развитии умственных способностей; а когда после смерти И. С. Тургенева Поль Бер и Поль Реклю (хирург) взвесили его мозг, то они нашли, что он до такой степени превосходит весом наиболее тяжелый из известных мозгов, именно Кювье, что не поверили своим весам и достали новые, чтобы проверить себя.

В особенности была замечательна беседа Тургенева. Он говорил, как и писал, образами. Желая развить мысль, он прибегал не к аргументам, хотя был мастер вести философский спор; он пояснял ее какой-нибудь сценой, переданной в такой художественной форме, как будто бы она была взята из его повести.

– Вот вы имели случай много наблюдать французов, немцев и других европейцев, – как-то сказал он мне, – вы, верно, заметили, что существует неизмеримая пропасть между многими воззрениями иностранцев и нас, русских: есть пункты, на которых мы никогда не сможем согласиться.

Я ответил, что не заметил таких пунктов.

– Нет, они есть. Ну, вот вам пример. Раз как-то мы были на первом представлении одной новой пьесы. Я сидел в ложе с Флобером, Додэ, Золя (не помню точно, назвал ли он и Додэ, и Золя, но одного из них он упомянул наверно). Все они, конечно, люди передовых взглядов. Сюжет пьесы был вот какой. Жена разошлась с мужем и жила теперь с другим. В пьесе он был представлен отличным человеком. Несколько лет они были совершенно счастливы. Дети ее, мальчик и девочка, были малютками, когда мать разошлась с их отцом. Теперь они выросли и все время полагали, что сожителю их матери был их отец. Он обращался с ними как с родными детьми: они любили его, и он любил их. Девушке минуло восемнадцать лет, а мальчику было около семнадцати. Ну вот, сцена представляет семейное собрание за завтраком. Девушка подходит к своему предполагаемому отцу, и тот хочет поцеловать ее. Но тут мальчик, узнавший как-то истину, бросается вперед и кричит: «Не смейте! (N’osez pas!)». Это восклицание вызвало бурю в театре. Раздался взрыв бешеных аплодисментов. Флобер и другие тоже аплодировали. Я, конечно, был возмущен. «Как! – говорил я, – эта семья была счастлива... Этот человек лучше обращался с детьми, чем их настоящий отец... Мать любила его, была счастлива с ним... Да этого дрянного, испорченного мальчишку следует просто высечь». Но сколько я ни спорил с ними, никто из этих передовых писателей не понял меня.

Я, конечно, был совершенно согласен с Тургеневым в его взглядах на этот вопрос и заметил только, что знакомства его были по преимуществу в средних классах. Там разница между нациями сильно заметна. Мои же знакомства были исключительно среди рабочих; а все работники, и в особенности крестьяне, всех стран очень похожи друг на друга.

Говоря это, я был, однако, совершенно не прав. Познакомившись впоследствии поближе с французскими рабочими, я часто вспоминал о справедливом замечании Тургенева. Действительно, существует глубокая пропасть между взглядами русских на брак и теми понятиями, которые господствуют во Франции как среди буржуазии, так и среди работников. Во многих других отношениях русские взгляды так же глубоко разнятся от взглядов других народов.

После смерти Тургенева где-то было сказано, что он собирался написать повесть на эту тему. Если он начал ее, то рассказанная мною сейчас сцена непременно должна быть в его рукописи. Как жаль, что Тургенев не написал этого произведения! Вполне «западник» по взглядам, он мог высказать очень глубокие мысли по предмету, который, наверное, глубоко интересовал его всю его жизнь.

Из всех беллетристов XIX века Тургенев, без сомнения, не имеет себе равных по художественной отделке и стройности произведений. Проза его звучна, как музыка, как глубокая музыка Бетховена; а в ряде его романов «Рудин», «Дворянское гнездо»,

«Накануне», «Отцы и дети», «Дым» и «Новь» – мы имеем быстро развивающуюся картину «делавших историю» представителей образованного класса начиная с 1848 года. Все типы очерчены с такой философской глубиной и знанием человеческой природы и с такую художественную тонкостью, которые не имеют ничего равного ни в какой другой литературе. Между тем большая часть молодежи приняла роман «Отцы и дети», который Тургенев считал своим наиболее глубоким произведением, с громким протестом. Она нашла, что нигилист Базаров отнюдь не представитель молодого поколения. Многие видели даже в нем карикатуру на молодое поколение. Это недоразумение сильно огорчало Тургенева. Хотя примирение между ним и молодежью состоялось впоследствии в Петербурге, после «Нови», но рана, причиненная этими нападками, никогда не залечилась.

Тургенев знал от Лаврова, что я восторженный поклонник его произведений, и раз, когда мы возвращались в карете после посещения мастерской Антокольского, он спросил меня, какого я мнения о Базарове. Я откровенно ответил: «Базаров – великолепный тип нигилиста, но чувствуется, что вы не любите его так, как любили других героев».

– Напротив, я любил его, сильно любил, – с неожиданным жаром воскликнул Тургенев. – Вот приедем домой, я покажу вам дневник, где записал, как я плакал, когда закончил повесть смертью Базарова.

Тургенев, без всякого сомнения, любил умственный облик Базарова. Он до такой степени отождествил себя с нигилистической философией своего героя, что даже вел дневник от его имени, в котором оценивал события с базаровской точки зрения. Но я думаю, что Тургенев все-таки больше восхищался Базаровым, чем любил его. В блестящей лекции о Гамлете и Дон-Кихоте он разделил всех «двигающих историю» людей на два класса, представленных тем или другим из этих двух типов. «Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверие. Он весь живет для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может», – так характеризовал Тургенев Гамлета. Поэтому он – скептик и потому никогда ничего не сделает, тогда как Дон-Кихот, сражающийся с ветряными мельницами и принимающий бритвенный тазик за Мамбринов шлем (кто из нас не делал подобных ошибок?), ведет за собою массы. Массы всегда следуют за тем, кто, не обращая внимания ни на насмешки большинства, ни на преследования, твердо идет вперед, не спуская глаз с цели, которая видна, быть может, ему одному. Дон-Кихоты ищут, падают, снова поднимаются и в конце концов достигают. И это вполне справедливо. Однако «хотя отрицание Гамлета сомневается в добре, но во зле оно не сомневается и вступает с ним в ожесточенный бой...».

«Скептицизм Гамлета не есть также индифферентизм, но в отрицании, как в огне, есть истребляющая сила, и эта сила истребляет его волю».

В этих мыслях, мне кажется, Тургенев дал ключ к пониманию его отношения к своим героям. Он и некоторые из его лучших друзей были более или менее Гамлетами. Тургенев любил Гамлета и восторгался Дон-Кихотом. Вот почему он уважал также Базарова. Он отлично изобразил его умственное превосходство, он превосходно понял трагизм одиночества Базарова; но он не мог окружить его тою нежностью, тою поэтической любовью, которую, как больному другу, он уделял своим героям, когда они приближались к гамлетовскому

типу. Такая любовь была бы здесь неуместна. И мы чувствовали ее отсутствие!

– Знали ли вы Мышкина? – спросил он меня раз в 1878 году. (Когда судили наши кружки, сильная личность Мышкина, как известно, резко выступила вперед).

– Я хотел бы знать все, касающееся его, – продолжал Тургенев. – Вот человек – ни малейшего следа гамлетовщины. – И, говоря это, Тургенев, очевидно, обдумывал новый тип, выдвинутый русским движением и не существовавший еще в период, изображенный в «Нови». Тип такого революционера появился года два спустя после выхода «Нови» из печати.

В последний раз я видел И. С. Тургенева не то осенью, не то в июле 1881 года. Он был уже очень болен и мучился мыслью, что его долг – написать Александру III, который недавно вступил на престол и колебался еще, какой политике последовать, указать ему на необходимость дать России конституцию. С нескрываемой горестью Тургенев говорил мне: «Чувствую, что обязан это сделать; но я вижу также, что не в силах буду это сделать». В действительности он терпел уже страшные муки, причиняемые раком спинного мозга. Ему трудно было даже сидеть и говорить несколько минут. Так он и не написал тогда, а несколько недель позже это уже было бы бесполезно: Александр III манифестом объявил о своем намерении остаться самодержавным правителем России.

Еще одно воспоминание. Тургенев как-то заговорил со мной о тех книжках, которые издавал для народа наш кружок. «Да... но это все не то, что нужно», – заметил он, задумавшись о чем-то, и, к моему удивлению, тут же упомянул, как наш народ расправляется с конокрадами... Точных его слов не могу припомнить, но смысл его замечания врезался мне в память. К сожалению, кто-то вошедший в кабинет прервал наш разговор, и впоследствии я не раз спрашивал себя: «Что же такое он хотел сказать?»

И вот через несколько времени после его смерти появился его рассказ, продиктованный им перед смертью г-же Виардо по-французски и переведенный на русский язык Григоровичем, где рассказано, как крестьяне расправились с одним помещиком-конокрадом...

Известно, как Тургенев любил искусство; и, когда он увидел в Антокольском действительно великого художника, он с восторгом говорил о нем. «Я не знаю, встречал ли я в жизни гениального человека или нет, но если встретил, то это был Антокольский», – говорил мне Тургенев. И тут же смеясь прибавил: «И заметьте, ни на одном языке правильно не говорит. По-русски и по-французски говорит ужасно... но зато скульптор – великолепный». И когда я сказал Тургеневу, до чего я еще совсем юношей восторгался «Иваном Грозным» Антокольского и что мне особенно понравилась его вылепленная из воска группа евреев, читающих какую-то книгу, и инквизиторы, спускающие их в погреб, то Тургенев настоял, чтобы я непременно посмотрел только что законченную статую «Христос перед народом». Я совестился идти и, может быть, помешать Антокольскому, но тогда Тургенев решил, что он условится с Антокольским и в назначенный день поведет П. Л. Лаврова и меня в мастерскую Антокольского.

Так и сделали. Известно, как поразительно хороша эта статуя. Особенно поражает необыкновенная грусть, которой проникнуто лицо Христа при виде толпы, вопиющей: «Распни его!» В то же время вся фигура Христа поражает своей мощью, особенно если смотреть сзади, кажется, что видишь здорового, могучего крестьянина, связанного веревками.

– А теперь посмотрите его сверху, – сказал мне Тургенев, – вы увидите, какая мощь, какое презрение в этой голове...

И Тургенев стал просить у Антокольского лестницу, чтобы я мог увидеть эту голову сверху. Антокольский отнекивался:

– Да нет, Иван Сергеевич, зачем?

– Нет, нет, – настаивал Тургенев, – ему это нужно видеть: он революционер.

И действительно, когда принесли лестницу и я взглянул на эту голову сверху, я понял всю умственную мощь этого Христа, его глубокое презрение к глупости вопившей толпы, его ненависть к палачам. И, стоя перед статуей, хотелось, чтобы Христос разорвал связывающие его веревки и пошел разгонять палачей...

VII. Рост недовольства в России после русско-турецкой войны. Процесс «ста девяноста трех». Покушение на Трепова. Четыре покушения на коронованных лиц. Мы основываем «Le Revolte». Чем должен быть социалистический журнал. Денежные и технические затруднения

Между тем дела в России приняли совершенно новый оборот. Турецкая война 1877 года закончилась всеобщим неудовольствием. До начала войны всюду в России судьба славян вызывала большие симпатии. Многие верили также, что после войны за освобождение на Балканском полуострове последуют реформы в самой России. Но освобождение славян осуществилось лишь отчасти. Громадные жертвы русского народа были парализованы ошибками высших военных властей. Десятки тысяч солдат пали в битвах, закончившихся

только полупобедой, а уступки, вырванные у Турции, были уничтожены Берлинским конгрессом. Все также хорошо знали, что казнокрадство во время войны практиковалось почти в таких же широких размерах, как и во время Крымской кампании.

Среди этого всеобщего недовольства в конце 1877 года начался суд над сто девяносто тремя лицами, арестованными начиная с 1873 года. Подсудимые, которых защищали лучшие адвокаты, сразу завоевали симпатию широкой публики. Они произвели очень хорошее впечатление на петербургское общество. А когда стало известно, что большинство из них провело в тюрьме в ожидании суда по три, по четыре года и что около двадцати человек сошло с ума или покончило самоубийством, симпатии в пользу подсудимых еще больше увеличились даже в самих судьях. Суд постановил очень суровые приговоры для немногих и сравнительно мягкие для всех остальных на том основании, что предварительное заключение продолжалось так долго и само по себе было уже таким суровым наказанием, что прибавлять еще новое несправедливо. Все ждали, что царь еще более смягчит приговор. Вышло, однако, ко всеобщему изумлению, что Александр II, пересмотрев решение суда, увеличил наказание. Оправданных сослали в отдаленные русские и сибирские губернии, а тех, кому суд назначил непродолжительное тюремное заключение, послали на пять и на десять лет на каторгу. Все это было делом начальника Третьего отделения шефа жандармов генерала Мезенцева.

В то же время петербургский обер-полицеймейстер генерал Трепов, заметив во время посещения дома предварительного заключения, что политический заключенный Боголюбов не снял шапку перед ним, всесильным сатрапом, кинулся на него с поднятыми кулаками; а когда Боголюбов оказал сопротивление, Трепов приказал наказать его розгами. Остальные заключенные, немедленно узнав об этом, громко протестовали в своих камерах и поэтому были жестоко избиты надзирателями и вызванною для этого полицией.

Русские политические безропотно переносили суровую ссылку и каторгу; но они твердо решили ни в коем случае не позволять над собой телесного насилия. Молодая девушка Вера Засулич, не зная даже Боголюбова, взяла револьвер, отправилась к обер-полицеймейстеру и выстрелила в него. Трепов был только ранен. Александр II пришел взглянуть на молодую героиню, которая, должно быть, произвела на него впечатление своим необычайно симпатичным лицом и скромностью. Трепов имел столько врагов в Петербурге, что им удалось передать дело обыкновенному суду присяжных. Вера Засулич заявила на суде, что прибегла к оружию только тогда, когда испробованы были безуспешно все средства довести дело до сведения общества. Обращались даже к петербургскому корреспонденту газеты «Times», чтобы он разоблачил факт, но и он этого не сделал, так как, должно быть, счел рассказ невероятным. Тогда Засулич, не сказав никому ни слова о своем намерении, пошла стрелять в Трепова. Теперь же, когда дело дошло до всеобщего сведения, она была даже рада, что Трепов только был ранен. Присяжные оправдали Веру Засулич, а когда полиция захотела вновь арестовать ее при выходе из суда, молодежь, толпившаяся на улице, вырвала ее из рук жандармов. Она уехала за границу и скоро присоединилась к нам в Швейцарии.

Дело это произвело глубокое впечатление по всей Европе. Я был в Париже, когда получилось известие об оправдательном приговоре. Мне пришлось в этот день зайти по

делам в несколько редакций. Всюду редакторы дышали энтузиазмом и писали энергичные передовые статьи, прославлявшие девушку. Даже серьезная «Revue des Deux Mondes» в годичном обзоре писала, что больше всего на общественное мнение Европы в 1878 году произвели впечатление два лица: князь Горчаков во время Берлинского конгресса и Вера Засулич. Портреты их были помещены во многих альманахах и календарях. Что же касается европейских рабочих, то самоотверженность Веры Засулич произвела на них чрезвычайно глубокое впечатление.

Несколько месяцев спустя без всякого заговора произошли быстро, одно за другим, четыре покушения на коронованных лиц. Рабочий Гёдель, а вслед за ним доктор Нобилинг стреляли в германского императора; несколько недель позже испанский рабочий Олива Монкаси совершил покушение на Альфонса XII, а повар Пассананте кинулся с ножом на итальянского короля. Европейские правительства не могли допустить, чтобы покушения на трех королей могли случиться без существования какого-нибудь международного заговора, и они ухватились за предположение, что ответственность лежит на Юрской федерации Международного союза рабочих.

С тех пор прошло больше двадцати лет, и я могу категорически заявить, что никаких решительно данных, подтверждающих подобное предположение, не существовало. Между тем все европейские правительства напали на Швейцарию, упрекая ее в том, что она дает убежище революционерам, устраивающим подобные заговоры. Редактор нашей газеты «Avant-Garde» Поль Брусс был арестован и привлечен к суду. Швейцарские судьи, видя, однако, что нет ни малейшего основания для предположения, что Брусс или Юрская федерация принимали участие в недавних покушениях, присудили редактора только к непродолжительному тюремному заключению за его статью и изгнанию на десять лет из Швейцарии, но зато газету запретили. Федеральное правительство обратилось даже с предложением ко всем швейцарским типографиям не печатать больше подобных изданий. Таким образом, Юрская федерация осталась без газеты.

Кроме того, швейцарские политические деятели, которые давно уже косились на рост анархической агитации в их стране, приняли под рукой такие меры, чтобы под угрозой полнейшей невозможности заработать средства к жизни заставить выдающихся членов швейцарцев отстать от Юрской федерации. Брусса изгнали из Швейцарии. Джемс Гильом, поддерживавший вопреки всем препятствиям в течение восьми лет официальный орган федерации и добывавший средства к жизни уроками, теперь не мог найти никаких занятий и вынужден был уехать из Швейцарии во Францию. Адемар Швицгебель не находил больше работы в часовом деле и, имея большую семью, принужден был отстать от движения. Шпихигер находился в таком же положении и эмигрировал. Вышло так, что мне, иностранцу, пришлось взять на себя редактирование газеты юрцев. Я, конечно, колебался; но так как другого выхода не было, то в феврале 1879 года я с двумя товарищами – Дюмартрэ и Герцигом – основал в Женеве новую двухнедельную газету «Le Revolte»[29]. Большинство статей приходилось мне писать самому. Издательский капитал наш состоял всего из двадцати трех франков; но мы все усердно принялись собирать деньги и выпустили первый номер. Тон нашего журнала был умеренный, но сущность его была революционная, и я по мере сил старался излагать в нем самые сложные экономические и исторические вопросы понятным для развитых рабочих языком. Наша прежняя газета в лучшие времена

расходилась всего в шестистах экземплярах. Теперь же мы отпечатали «Le Revolte» в двух тысячах экземпляров, и через несколько дней они все разошлись. Газета имела успех, и до сих пор она выходит в Париже под названием «Temps Nouveaux» («Новые времена»)[30].

Социалистические газеты часто проявляют стремление превратиться в скорбный лист, наполненный жалобами на существующие условия. Отмечается тяжелое положение работников в шахтах, на фабриках и в деревнях; яркими красками рисуются нищета и страдания рабочих во время стачек; подчеркивается их беспомощность в борьбе с предпринимателями. И эта летопись безнадежных усилий, повторяясь в газете из недели в неделю, производит на читателя самое удручающее впечатление. Тогда – в противовес этому впечатлению – редактор должен главным образом рассчитывать на зажигательные слова, при помощи которых он пытается внушить читателю веру и энергию. Я полагал, напротив, что революционная газета главным образом должна отмечать признаки, которые всюду знаменуют наступление новой эры, зарождение новых форм общественной жизни и растущее возмущение против устаревших учреждений. За этими признаками нужно следить; их следует сопоставлять настоящим образом и группировать их так, чтобы показать нерешительным умам ту невидимую и часто бессознательную поддержку, которую передовые воззрения находят всюду, когда в обществе начинается пробуждение мысли. Заставить человека почувствовать себя заодно с бьющимся сердцем всего человечества, с зачинающимся бунтом против вековой несправедливости и с попытками выработки новых форм жизни – в этом состоит главная задача революционной газеты. Надежда, а вовсе не отчаяние, как нередко думают очень молодые революционеры, порождает успешные революции.

Историки часто описывают нам, как та или другая философская система совершила известную перемену в мыслях, а впоследствии и в учреждениях. Но это не история. На деле величайшие философы только улавливали признаки приближающихся изменений, понимали их внутреннюю связь и, руководимые индукцией и чутьем, предсказывали грядущие события. Социологи с своей стороны набрасывали нам планы социальной организации, исходя из немногих принципов и развивая их с логической последовательностью, как выводятся геометрические теоремы из немногих аксиом. Но это не социология. Правильные предсказания можно делать только, если обращать внимание на тысячи признаков новой жизни, отделяя случайные факты от органически необходимых, и строить свои обобщения на этом единственно прочном основании.

С этим именно методом мышления я и старался ознакомить моих читателей. При этом я писал по возможности без мудреных слов, чтобы приучить самых скромных рабочих к собственному суждению о том, куда и как идет общество, и дать им возможность самим поправить писателя, если тот будет делать неверные заключения. Что же касается до критики существующего строя, я делал ее только для того, чтобы выяснить корень зла и чтобы показать, как глубоко укоренившееся и заботливо взлелеянное поклонение перед устаревшими формами да еще широко распространенная трусость ума и воли являются главными источниками всех бедствий.

Дюмартрэ и Герциг вполне поддерживали меня в этом направлении. Дюмартрэ родился в одной из самых бедных крестьянских семей в Савойе. Учился он только в начальной школе,

да и то недолго. Между тем он был один из самых умных и сметливых людей, которых мне когда-либо пришлось встретить. Его оценки людей и текущих событий были так замечательны по своему здравому смыслу, что порой оказывались пророческими. Дюмартрэ был также очень тонкий критик текущей социалистической литературы, и его никогда нельзя было ослепить фейерверками красивых слов и якобы науки. Герциг был молодой приказчик, родом из Женевы, сдержанный, застенчивый, красневший, как девушка, когда высказывал оригинальную мысль. Когда же меня арестовали и ответственность за выход газеты легла на Герцига, он благодаря своей воле научился писать очень хорошо. Все женевские хозяева бойкотировали его, и он впал со своей семьей в крайнюю нужду, но тем не менее поддерживал газету, пока явилась возможность перенести ее в Париж. Позднее вместе с итальянцем Бертони он начал издавать в Женеве прекрасную анархическую рабочую газету «Le Reveil»[31].

На суд этих двух друзей я мог смело положиться. Если Герциг хмурился и бормотал: «Да хорошо, сойдет!», – я знал, что статья не годится. А когда Дюмартрэ, постоянно жаловавшийся на плохое состояние своих очков, когда ему приходилось разбирать не совсем четкую рукопись, а потому пробегавший статьи только в корректуре, прерывал чтение восклицанием: «Non, ça ne va pas» («Нет, не идет»), – я тотчас понимал, что дело неладно, и пытался угадать, что именно вызвало его неодобрение. Я знал, что допытываться от него совершенно бесполезно. Дюмартрэ ответил бы: «Ну, это не мое дело, а ваше! Не подходит, вот и все, что я могу сказать». Но я чувствовал, что он прав, и присаживался, чтобы написать место заново. А не то, взявши верстатку, набирал вместо неодобренных строчек новые.

Нужно сказать, что выпадали на нашу долю и тяжелые времена. Едва мы выпустили четыре или пять номеров, как типография, где мы печатали, отказала нам. Для рабочих и их изданий свобода печати, указанная в конституциях, имеет много ограничений помимо тех, которые упомянуты в законе. Владелец типографии ничего не имел против нашей газеты: она ему нравилась; но в Швейцарии все типографии зависят от правительства, которое дает им различные заказы, как, например, печатание статистических отчетов, бланков и тому подобное. Нашему типографу решительно заявили, что если он будет продолжать печатать «Revolte» («Бунтарь»), то ему нечего больше рассчитывать на заказы от женевского правительства, и он повиновался. Я объехал всю французскую Швейцарию и повидал владельцев всех типографий, но даже от сочувственно относившихся к направлению нашей газеты я получил один и тот же ответ: «Мы не можем жить без правительственных заказов, а их нам не дадут, если мы возьмемся печатать «Le Revolte».

Я возвратился в Женеву с сильно упавшим духом, но Дюмартрэ был преисполнен жара и надежд. «Отлично, – говорил он, – заведем свою типографию! Возьмем ее в долг с обязательством выплатить через три месяца. А через три-то месяца мы, наверное, выплатим».

– Но где же взять деньги? У нас всего несколько сот франков, – возразил я.

– Деньги? Вот вздор! Деньги придут. Закажем только немедленно шрифт и выпустим сейчас же номер. Деньги явятся.

И в этот раз оправдались его слова. Когда наш следующий номер вышел из нашей собственной «Imprimerie Jurassienne»[32] и мы рассказали читателям о нашем затруднительном положении; когда мы, кроме того, выпустили две брошюры, причем мы все помогали в наборе и печатании их, деньги действительно явились. Правда, большею частью то были медяки и мелкие серебряные монеты, но долг был покрыт. Постоянно в моей жизни я слышу жалобы передовых партий на недостаток средств; но чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что главное наше затруднение не в недостатке денег, а в недостатке людей, которые твердо и неукоснительно шли бы к намеченной цели и вдохновляли бы других. Вот уже двадцать семь лет, как наша газета живет изо дня в день; возвания о помощи появляются чуть ли не в каждом номере. Но куда есть люди, которые вкладывают в дело всю энергию, как делали это Герциг и Дюмартрэ в Женеве, а теперь вот уже больше двадцати лет делает Грав в Париже, деньги являются. Ежегодный приход, идущий на покрытие печатания газеты и брошюр, составляет около восьми тысяч рублей, и составляется он главным образом из медяков и мелкого серебра, вносимых работниками. Для газеты, как и для всякого другого дела, люди дороже денег.

Мы устроили нашу типографию в маленькой комнатке. Наш наборщик-малоросс согласился набирать газету за очень скромную плату в шестьдесят франков в месяц. Если он имел возможность ежедневно обедать да изредка пойти в оперу, то он был доволен.

- В баню идете, Кузьма? - спросил я раз, встретив его на улице с узелком, завернутым в бумагу.

- Нет, перебираюсь на новую квартиру, - ответил он певучим голосом, с обычной улыбкой.

К несчастью, он не знал по-французски. Я писал статьи моим лучшим почерком и часто сожалел о том, что так мало воспользовался уроками чистописания доброго Эберта, но Кузьма отличался способностью читать по-французски на свой лад. Вместо «immédiatement» он читал «immediotarmut» или «inmuidiatmunt» и соответственно с этим набирал фантастические французские слова своего собственного изобретения. Но так как он соблюдал промежутки и не удлинял строк, то нужно было только переменить букв десять в строке, и все налаживалось. Мы были с ним в самых лучших отношениях, и под его руководством я сам вскоре научился немного набирать. Набор всегда кончался вовремя, чтобы отнести корректуры к товарищу-швейцарцу, который был ответственным редактором и которому мы педантически давали на смотр весь номер в гранках. Затем кто-нибудь из нас отвозил в тележке формы в печатню. Наша «Imprimerie Jurassienne» скоро получила широкую известность своими изданиями, в особенности брошюрами, за которые мы - по настоянию Дюмартрэ никогда не назначали большую цену, чем десять сантимов - четыре копейки.

Для брошюр пришлось выработать совершенно особый слог. Должен сознаться, что я иногда завидовал тем писателям, которые могут не стесняться числом страниц для развития своих мыслей и имеют возможность воспользоваться хорошо известным извинением Талейрана: «У меня не хватило времени быть кратким». Когда мне приходилось сжать результат нескольких месяцев работы например, о происхождении закона - в десятисантимную брошюру, мне нужно было еще много работать над нею, чтобы быть кратким. Но мы писали

для рабочих, для которых двадцать сантимов подчас слишком большая сумма. В результате было то, что наши брошюры в один и в два су (две и четыре копейки) расходились десятками тысяч и переводились на все другие языки за границей. Впоследствии, когда я был в тюрьме во Франции, Элизэ Реклю издал отдельной книжкой мои передовые статьи под заглавием, им придуманным, – «Речи мятежника» («Paroles d'un Revolte»).

Мы все время имели в виду главным образом Францию, но «Revolte» был строго воспрещен при Мак-Магоне. Контрабандисты же перетаскивали столько хороших вещей из Швейцарии во Францию, что не хотели путаться с нашей газетой. Я отправился раз с ними, перешел вместе французскую границу и нашел, что они смелый народ, на который можно положиться; но взяться за перевозку нашей газеты они не согласились. Все, что мы могли сделать, – это рассылать ее в закрытых конвертах сотне адресатов во Франции. Мы ничего не брали за пересылку, рассчитывая на добровольные пожертвования подписчиков для покрытия почтовых расходов, что они и делали. Но мы часто думали, что французская полиция упускала отличный случай вконец разорить наше издание. Ей следовало только подписаться на сотню экземпляров, а добровольных пожертвований не присылать.

В первый год мы должны были рассчитывать только на самих себя; но постепенно Элизэ Реклю все более заинтересовывался изданием и впоследствии присоединился к нам, а после моего ареста всей душой отдался газете. В 1880 году Реклю пригласил меня помочь ему в составлении тома его монументальной географии, посвященного Азиатской России. Он сам выучился по-русски, но полагал, что так как я был в Сибири, то могу быть ему полезным моими сведениями. Здоровье моей жены было плохо, и врачи велели ей немедленно оставить Женеву с ее холодными ветрами, а потому весной 1880 года мы с женой переехали в Кларан, где в то время жил Реклю. Мы поселились над Клараном, в маленьком домике, с видом на голубые воды Лемана и на белоснежную вершину Дан-дю-Миди. Под окнами журчала речка, превращавшаяся после дождей в ревуший поток, ворочавший громадные камни и вырывавший новые русла. Против нас, на склоне горы, виднелся старый замок Шатлар, владельцы которого вплоть до революции *burla rarei* (то есть сжигателей бумаг) в 1799 году взимали с соседних крепостных крестьян феодальные поборы по случаю рождений, свадеб и похорон. Здесь при содействии моей жены, с которой я обсуждал всегда всякое событие и всякую проектируемую статью и которая была строгим критиком моих произведений, я написал лучшие мои статьи для «Revolte», между прочим обращение «К молодежи», сотни тысяч которого разошлись на различных языках. В сущности, я выработал здесь основу всего того, что впоследствии написал. Мы, анархисты, рассеянные преследованиями по всему свету, больше всего нуждаемся в общении с образованными людьми одинакового с нами образа мыслей. В Кларане у меня было такое общение с Элизэ Реклю и Лефрансэ да, кроме того, еще постоянные сношения с рабочими, которые я продолжал поддерживать. И хотя я работал очень много по географии, я мог вести анархическую пропаганду еще шире, чем прежде.

VIII. Революционное движение в России принимает более серьезный характер.

Покушения на Александра II, устроенные Исполнительным комитетом партии «Народная воля». Смерть Александра II

В России в это время борьба за свободу обострялась все более и более. Несколько политических процессов – процессы «пятидесяти», «ста девяноста трех», «долгушинцев» и другие – разбирались в то время; и из всех их выяснилось одно и то же. Молодежь шла проповедовать социализм на фабрики и в деревни, распространялись брошюры, отпечатанные за границей, и народ призывался – несколько неопределенно и неясно – к бунту против гнетущих экономических условий. Словом, делалось то, что делается повсеместно социалистическими агитаторами. Следов заговора против царя или даже приготовлений к революционным действиям не было найдено никаких. И с действительности ничего подобного не было. Тогда большинство молодежи относилось даже враждебно к такой деятельности. И, припоминая теперь движение 1870-1878 годов, я могу сказать, не боясь ошибиться, что большинство молодежи удовлетворилось бы возможностью спокойно жить среди крестьян и фабричных работников, учить их и работать с ними либо в земстве словом, возможностью оказывать народу те бесчисленные услуги, которыми образованные, доброжелательные и серьезные люди могут быть полезны крестьянам и рабочим. Я знал людей этого движения и говорю с полным знанием дела.

Между тем приговоры судов были жестоки, бессмысленно жестоки, так как движение, порожденное всем предыдущим состоянием России, слишком глубоко вкоренилось, чтобы его можно было раздавить одними суровыми карами. Приговоры на шесть, десять, двенадцать лет каторжных работ в рудниках с пожизненным поселением потом в Сибири стали делом обычным. Был даже случай, что одну девушку сослали на девять лет каторжных работ за то, что она вручила запрещенную социалистическую брошюру рабочему. В этом заключалось все ее преступление. Другую, четырнадцатилетнюю девушку Гуковскую, сослали на поселение в Восточную Сибирь за попытку – подобно гётевской Клерхен, подстрекнуть равнодушную толпу на освобождение Ковальского и товарищей, приговоренных к смертной казни. А между тем ее поступок тем более был естествен в России, даже с точки зрения властей, что у нас нет смертной казни для уголовных преступлений и что применение ее для политических преступлений было тогда нововведением или, вернее, возвратом к самым тяжелым преданиям николаевских времен. Сосланная в Сибирь, Гуковская вскоре покончила с собой самоубийством. Даже оправданных судом отправляли административным порядком в отдаленные сибирские и севернорусские поселки, где им представлялась перспектива голодной смерти на казенном пособии в три рубля в месяц. В таких поселках нет спроса на ремесла, а политическим ссыльным строго воспрещается учить или заниматься каким бы то ни было интеллигентным трудом.

Как бы для того, чтобы еще больше привести молодежь в отчаянье, осужденных на каторгу не отправляли прямо в Сибирь. Их держали по несколько лет в «центральных», в сравнении с которыми даже сибирские рудники казались завидными. Центральные каторжные тюрьмы действительно были ужасны. В одной из них – «очаге тифозной заразы», как выразился один тюремный священник в своей проповеди, – смертность в один год достигла двадцати процентов. В «централках», в сибирских каторжных тюрьмах и в крепости заключенные должны были прибегать к «голодным бунтам», чтобы защитить себя от жестоких тюремщиков или чтобы добиться самых ничтожных льгот: какой-нибудь работы или книг, которые спасли бы их от помешательства, грозящего всякому сидящему в одиночном заключении без всякого занятия. Ужасы подобных голодовок, во время которых заключенные отказывались по семи и восьми дней принимать пищу, а затем лежали без движения, в бреду, по-видимому, нисколько не трогали жандармов. В Харькове умирающих заключенных связывали веревками и кормили насильственно, как кормят гусей.

Сведения об этих ужасах проникали сквозь тюремные стены, долетали из далекой Сибири, широко распространялись среди молодежи. Было время, когда не проходило недели без того, чтобы не узнавалось о какой-нибудь новой подлости такого рода или еще худшей.

Полное отчаянье овладело тогда молодежью. «В других странах, – стали говорить, – люди имеют мужество сопротивляться. Англичанин или француз не потерпел бы подобных насилий. Как это мы можем терпеть их? Надо сопротивляться с оружием в руках ночным набегам жандармов. Пусть они знают по крайней мере, что так как арест означает медленную и мучительную смерть в их руках, то возьмут они нас только с боя». В Одессе Ковальский и его друзья встретили револьверными выстрелами жандармов, явившихся ночью арестовать их.

Александр II ответил на это новое движение осадным положением – Россия была разделена на несколько округов с генерал-губернаторами, получившими приказание вешать немилосердно. Ковальский, который, к слову сказать, никого не убил своими выстрелами, был казнен. Виселица стала своего рода лозунгом. В два года повесили двадцать три человека, в том числе девятнадцатилетнего Розовского, захваченного при наклеивании прокламации на железнодорожном вокзале. Этот факт был единственным обвинением против него. Хотя мальчик по летам, Розовский умер как герой.

Тогда боевым кличем революционеров стало: «Защищайтесь! Защищайтесь от шпионов, втирающихся в кружки под личиной дружбы и выдающих потом направо и налево по той простой причине, что им перестанут платить, если они не будут доносить. Защищайтесь от тех, кто зверствует над заключенными! Защищайтесь от всемогущих жандармов!» Три видных правительственных чиновника и два или три мелких шпиона погибли в этом новом фазисе борьбы. Генерал Мезенцев, убедивший царя удвоить наказания после приговора по делу «ста девяноста трех», был убит в Петербурге среди белого дня. Один жандармский полковник, виновный еще в худшем, подвергся той же участи в Киеве, а в Харькове был убит генерал-губернатор, мой двоюродный брат, Дмитрий Кропоткин, когда он возвращался из театра. Центральная тюрьма, где началась первая голодовка и где прибегли к искусственному кормлению, находилась в его ведении. В сущности, он был не злой человек; я знаю, что лично он скорее симпатизировал политическим; но он был человек

бесхарактерный, притом придворный, флигель-адъютант царя, и поэтому предпочел не вмешиваться, тогда как одно его слово могло бы остановить жестокое обращение с заключенными. Александр II любил его, и положение его при дворе было так прочно, что его вмешательство, по всей вероятности, было бы одобрено в Петербурге.

– Спасибо! Ты поступил согласно моим собственным желаниям, – сказал ему царь в 1872 году, когда Д. Н. Кропоткин явился в Петербург, чтобы доложить о народных беспорядках в Харькове, во время которых он мягко поступил с бунтовщиками.

Но теперь он одобрил поведение тюремщиков, и харьковская молодежь до такой степени была возмущена обращением с заключенными, что по нем стреляли и смертельно ранили.

Тем не менее личность императора оставалась еще в стороне, и вплоть до 1879 года на его жизнь не было покушений. Слава освободителя окружила его ореолом и защищала его неизмеримо лучше, чем полчища жандармов и сыщиков. Если бы Александр II проявил тогда хотя малейшее желание улучшить положение дел в России, если бы он призвал хотя одного или двух из тех лиц, с которыми работал во время периода реформ, и поручил им расследовать общее положение страны или хотя бы положение одних крестьян; если бы он проявил малейшее намерение ограничить власть тайной полиции, его решение приветствовали бы с восторгом. Одно слово могло бы снова сделать Александра II «освободителем», и снова молодежь воскликнула бы, как Герцен в 1858 год: «Ты победил, галилеянин!» Но точно так же, как во время польской революции, пробудился в нем деспот и, подстрекаемый Катковым, он не нашел другого выхода, как виселицы, так точно и теперь, следуя внушениям того же злого гения Каткова, он ничего не придумал, кроме назначения особых генерал-губернаторов, с полномочием – вешать.

Тогда и только тогда горсть революционеров – Исполнительный комитет, поддерживаемый, однако, растущим недовольством среди образованных классов и даже среди приближенных к царю, объявил ту войну самодержавию, которая после нескольких неудачных покушений закончилась в 1881 году смертью Александра II.

Два человека жили в Александре II, и теперь борьба между ними, усиливавшаяся с каждым годом, приняла трагический характер. Когда он встретился с Соловьевым, который выстрелил в него и промахнулся, Александр II сохранил присутствие духа настолько, что побежал к ближайшему подъезду не по прямой линии, а зигзагами, куда Соловьев продолжал стрелять. Таким образом он остался невредим. Одна пуля только слегка разорвала шинель. В день своей смерти Александр II тоже проявил несомненное мужество. Пред действительной опасностью он был храбр, но он непрерывно трепетал пред призраками, созданными его собственным воображением. Единственно чтобы охранить свою императорскую власть, он окружил себя людьми самого реакционного направления, которым не было никакого дела до него, а просто нужно было удержать свои выгодные места.

Без сомнения, он сохранил привязанность к матери своих детей, хотя в то время он был уже близок с княжной Юрьевской-Долгорукой, на которой женился немедленно после смерти императрицы.

– Не упоминай мне про императрицу: мне это так больно, – говорил он не раз Лорис-Меликову. А между тем он совершенно оставил Марию Александровну, которая верно помогала ему раньше, когда он был освободителем. Она умирала в Зимнем дворце в полном забвении. Хорошо известный русский врач, теперь уже умерший, говорил своим друзьям, что он, посторонний человек, был возмущен пренебрежением к императрице во время ее болезни. Придворные дамы, кроме двух статс-дам, глубоко преданных императрице, покинули ее, и весь придворный мир, зная, что того требует сам император, заискивал пред Долгорукой. Александр II, живший в другом дворце, делал своей жене ежедневно лишь короткий официальный визит.

Когда Исполнительный комитет свершил смелую попытку взорвать Зимний дворец, Александр II сделал шаг, до того беспрецедентный. Он создал род диктатуры и облек Лорис-Меликова чрезвычайными полномочиями. Этому генералу, армянину родом, Александр II уже раньше давал диктаторские полномочия, когда в Ветлянке, в низовьях Волги, проявилась чума и Германия пригрозила мобилизовать свою армию и объявить Россию под карантином, если эпидемия не будет прекращена. Теперь, когда Александр II увидел, что он не может доверяться бдительности даже дворцовой полиции, он дал диктаторские права Лорис-Меликову, а так как Меликов считался либералом, то новый шаг истолковали в том смысле, что скоро созовут Земский собор. Но после взрыва в Зимнем дворце новых покушений немедленно не последовало, а потому Александр II опять успокоился, и через несколько месяцев, прежде чем Меликов мог выполнить что бы то ни было, он из диктатора превратился в простого министра внутренних дел. Внезапные припадки тоски, во время которых Александр II упрекал себя за то, что его царствование приняло реакционный характер, теперь стали выражаться сильными пароксизмами слез. В иные дни он принимался плакать так, что приводил Лорис-Меликова в отчаянье. В такие дни он спрашивал министра: «Когда будет готов твой проект конституции?» Но если два-три дня позже Меликов докладывал, что органический статут готов, царь делал вид, что решительно ничего не помнит. «Разве я тебе говорил что-нибудь об этом? – спрашивал он. – К чему? Предоставим это лучше моему преемнику. Это будет его дар России».

Когда слух про новый заговор достигал до Александра II, он готов был предпринять что-нибудь; но когда в лагере революционеров все казалось спокойным, он прислушивался к нашептываниям реакционеров и оставлял все, как было прежде. Лорис-Меликов со дня на день ждал, что его попросят в отставку.

В феврале 1881 года Лорис-Меликов доложил, что Исполнительный комитет задумал новый заговор, план которого не удастся раскрыть, несмотря на самые тщательные расследования. Тогда Александр II решил созвать род совещательного собрания из представителей от земств и городов. Постоянно находясь под впечатлением, что ему предстоит судьба Людовика XVI, Александр II приравнивал предполагавшуюся «общую комиссию» тому собранию нотаблей, которое было созвано до Национального собрания 1789 года. Проект должен был поступить в Государственный совет; но тут Александр II стал снова колебаться. Только утром первого марта 1881 года, после нового, серьезного предупреждения со стороны Лорис-Меликова об опасности, Александр II назначил следующий четверг для выслушивания проекта в заседании Совета министров. Первое марта падало на воскресенье, и Лорис-Меликов убедительно просил царя не ездить на

парад в этот день, ввиду возможности покушения. Тем не менее Александр II поехал. Он желал повидать великую княжну Екатерину Михайловну, дочь его тетки Елены Павловны, которая в шестидесятых годах была одним из вождей партии реформ, и лично сообщить ей приятную весть, быть может, акт покаяния пред памятью Марии Александровны. Говорят, царь сказал великой княжне: «Je me suis decide a convoquer une Assemblée des Notables»[33]. Но эта запоздалая и нерешительная уступка не была доведена до всеобщего сведения. На обратном пути из манежа Александр II был убит.

Известно, как это случилось. Под блиндированную карету, чтобы остановить ее, была брошена бомба. Несколько черкесов из конвоя были ранены. Рысакова, бросившего бомбу, тут же схватили. Несмотря на настоятельные убеждения кучера не выходить из кареты – он утверждал, что в слегка поврежденном экипаже можно еще доехать до дворца, – Александр II все-таки вышел. Он чувствовал, что военное достоинство требует посмотреть на раненых черкесов и сказать им несколько слов. Так поступал он во время русско-турецкой войны, когда, например, в день его именин сделан был безумный штурм Плевны, кончившийся страшной катастрофой. Александр II подошел к Рысакову и спросил его о чем-то, а когда он проходил затем совсем близко от другого молодого человека, Гриневицкого, стоявшего тут же на набережной с бомбою, тот бросил свою бомбу между обоими так, чтобы убить и себя, и царя. Оба были смертельно ранены и умерли через несколько часов.

Теперь Александр II лежал на снегу, истекая кровью, оставленный всеми своими сторонниками! Все исчезли. Кадеты, возвращавшиеся с парада, подбежали к умирающему царю, подняли его с земли, усадили в сани и прикрыли дрожащее тело кадетской шинелью, а обнаженную голову – кадетской фуражкой. Да еще один из террористов с бомбой, завернутой в бумагу под мышкой, рискуя быть схваченным и повешенным, бросился вместе с кадетами на помощь раненому... Человеческая природа полна таких противоположностей.

Так кончилась трагедия Александра II. Многие не понимали, как могло случиться, чтобы царь, сделавший так много для России, пал от руки революционеров. Но мне пришлось видеть первые реакционные проявления Александра II и следить за ними, как они усиливались впоследствии; случилось также, что я мог заглянуть в глубь его сложной души, увидеть в нем прирожденного самодержца, жестокость которого была только отчасти смягчена образованием, и понять этого человека, обладавшего храбростью солдата, но лишённого мужества государственного деятеля, – человека сильных страстей, но слабой воли, – и для меня эта трагедия развивалась с фатальной последовательностью шекспировской драмы. Последний ее акт был ясен для меня уже 13 июня 1862 года, когда я слышал речь, полную угроз, произнесенную Александром II перед нами, только что произведенными офицерами, в тот день, когда по его приказу совершились первые казни в Польше.

IX. Основание «Священной дружины» для борьбы с революционерами и для

защиты императора.

Предполагавшиеся убийства

революционеров. Меня изгоняют из

Швейцарии

Дикая паника охватила придворные круги в Петербурге. Александр III, который, несмотря на свой колоссальный рост, не был храбрым человеком, отказался поселиться в Зимнем дворце и удалился в Гатчину, во дворец своего прадеда Павла I. Я знаю это старинное здание, планированное как вобановская крепость, окруженное рвами и защищенное сторожевыми башнями, откуда потайные лестницы ведут в царский кабинет. Я видел люк в кабинете, через который можно бросить неожиданно врага в воду – на острые камни внизу, а затем тайные лестницы, спускающиеся в подземные тюрьмы и в подземный проход, ведущий к озеру. Все дворцы Павла I построены по такому же плану. Тем временем подземная галерея, снабженная автоматическими электрическими приборами, чтобы революционеры не могли подкопаться, рылась вокруг Аничкова дворца, где Александр III жил до восшествия на престол.

Для охраны царя была основана тайная лига. Офицеров различных чинов соблазнили тройным жалованьем поступать в эту лигу и исполнять в ней добровольную роль шпионов, следящих за различными классами общества. Бывали, конечно, комические эпизоды. Два офицера, например, не зная, что они оба принадлежат к одной и той же лиге, вовлекли друг друга в вагоне в революционную беседу, затем арестовывали друг друга и к обоюдному разочарованию убедились, что потратили напрасно время. Эта лига существует до сих пор[34] в более официальном виде под названием «охраны» и время от времени пугает царя всякими сочиненными ужасами, чтобы поддержать свое собственное существование.

Еще более тайная организация – «Священная дружина» основалась в то же время с Владимиром Александровичем, братом царя, во главе, чтобы бороться с революционерами всякими средствами – между прочим, убийством тех эмигрантов, которых считали вождями недавних заговоров. Я был в числе намеченных лиц. Владимир резко порицал офицеров, членов лиги, за трусость и выражал сожаление, что среди них нет никого, который взялся бы убить таких эмигрантов. Тогда один офицер, который был камер-пажем в то время, как я находился в корпусе, был выбран лигой, чтобы привести этот план в исполнение.

В действительности же эмигранты вовсе не вмешивались в деятельность Исполнительного комитета в Петербурге. Стремление руководить заговором из Швейцарии, тогда как революционеры в Петербурге находились под непрерывной угрозой смерти, было бы бессмыслицей. И Степняк, и я писали не раз, что никто из нас не взялся бы за сомнительный труд выработки планов деятельности, не находясь на месте. Но конечно, в интересах петербургской полиции было утверждать, что она не в силах охранять царя, так как все заговоры составляются за границей. Шпионы – я знаю это хорошо – снабжали ее в изобилии

донесениями в желаемом смысле.

Генералу Скобелеву тоже предложили вступить в эту лигу, но он отказался наотрез. Из сообщений Лорис-Меликова, часть которых была обнародована в Лондоне приятелем покойного (смотри «Конституция Лорис-Меликова», лондонское издание Фонда вольной прессы 1893 года), видно, что, когда Александр III вступил на престол и не решался созвать земских выборных, Скобелев предлагал даже Лорис-Меликову и графу Игнатьеву («лгун-паше», как прозвали его константинопольские дипломаты) арестовать Александра III и заставить его подписать манифест о конституции. Как говорят, Игнатьев донес об этом царю и таким образом добился назначения себя министром внутренних дел. Занимая этот пост, он, пользуясь советами бывшего префекта парижской полиции Андрие, предпринимал разные подходы, чтобы парализовать деятельность революционеров.

Если бы русские либералы проявили в то время хоть сколько-нибудь гражданского мужества и какую-нибудь способность к политической деятельности, Земский собор был бы созван. Из тех же сообщений Меликова видно, что Александр III некоторое время думал о созыве Земского собора. Он решился, наконец, это сделать и сообщил об этом своему брату. Старый Вильгельм I поддерживал его в этом намерении. Но либералы ничего не предпринимали, тогда как партия Каткова усиленно действовала в противоположном направлении. Андрие писал Александру III, что раздавить нигилистов ничего не стоит, и указывал, как это нужно сделать (письмо с советами напечатано в упомянутой брошюре). Тогда Александр III решился наконец заявить, что останется неограниченным самодержцем России.

Через несколько месяцев после смерти Александра II меня изгнали из Швейцарии по приказу Федерального совета. Правду сказать, я не почувствовал в этом особой обиды. Донимаемые монархическими странами за убежище, даваемое Швейцарией политическим изгнанникам, и опасаясь угроз русской официальной прессы, требовавшей изгнать из России швейцарок-бонн и гувернанток, которых у нас так много, власти маленькой республики, высылая меня, давали некоторое удовлетворение русской полиции. Но мне жаль было Швейцарию, что она решилась на такой шаг. Им подтверждалась, так сказать, теория «заговоров, замышляемых на швейцарской почве»; в нем было сознание слабости, которым большие державы не преминули немедленно же воспользоваться. Два года спустя, когда Жюль Ферри предложил Германии и Италии поделить Швейцарию, его главный аргумент был, что швейцарское правительство само признало, что республика является «очагом международных заговоров». Первая уступка вызвала вскоре более дерзкие требования и, несомненно, сделала положение Швейцарии менее независимым, чем оно было раньше.

Декрет об изгнании вручили мне немедленно после моего возвращения из Лондона, где в июле 1881 года я присутствовал на анархическом конгрессе. После конгресса я прожил несколько недель в Лондоне, где написал для «Newcastle Chronicle» первые статьи о русских делах с нашей точки зрения. Английская печать в то время являлась отголоском мнений г-жи Новиковой, то есть взглядов Каткова и русских жандармов; и я был счастлив, когда старый радикал мистер Джозеф Коуэн (Joseph Cowen) согласился уделить мне место в своей газете для выяснения наших взглядов.

Я только что приехал к жене, которая жила тогда в горах недалеко от Элизэ Реклю, когда мне предложили покинуть Швейцарию. Мы отправили наш небольшой багаж на ближайшую железнодорожную станцию, а сами пошли пешком в Эгль, наслаждаясь в последний раз видом на горы, которые мы так любили. Мы перебрались через горы напрямки и много смеялись, когда убеждались, что «прямой путь» заставлял нас делать большие обходы. Наконец мы спустились в долину и пошли по пыльной дороге. Комический элемент, который всегда является в таких случаях жизни, был внесен в этот раз одной английской дамой. Нарядная леди, покоившаяся на подушках кареты рядом с джентльменом, бросила несколько душеспасительных брошюр двум бедно одетым пешеходам, которых обогнала. Я поднял из пыли эти брошюры. Леди, очевидно, была одна из тех дам, которые думают, что они христианки, и считают своим долгом раздавать божественные книжечки «развратным иностранцам». Рассчитывая, что мы, наверное, застанем даму на станции, я написал на одной из брошюр известный евангельский стих о богатом, которому труднее пройти в царство небесное, чем верблюду в игольное ушко, и прибавил соответственное место о фарисеях. Когда мы пришли в Эгль, дама закусывала и запивала, сидя в карете. Очевидно, она предпочитала продолжать путешествие по прелестной долине в экипаже, чем в душном вагоне. Я вежливо возвратил ей душеспасительные книжки, заметив, что прибавил к ним кое-что полезное, для нее самой. Леди не знала, кинуться ли ей на меня или же принять урок с христианским смирением. Оба движения отражались в ее глазах одно за другим.

Жена моя собиралась сдавать в Женевском университете последние экзамены на степень бакалавра естественных наук. Поэтому мы поселились в маленьком французском городке Тононе, лежащем на савойском берегу Женевского озера, где и прожили месяца два.

Что касается смертного приговора, который мне вынесла священная лига, то предупреждение о нем я получил из России от одного очень высокопоставленного лица. Мне стало известно даже имя той дамы, которую послали из Петербурга в Женеву, где она должна была стать душой заговора. Поэтому я ограничился тем, что сообщил факт и имена женевскому корреспонденту «Times» с просьбой огласить их, если что-нибудь случится со мной. В этом смысле поместил я также заметку в «Revolte». После этого я больше не думал о приговоре. Жена моя, однако, не так легко отнеслась к делу, точно так же как и добрая крестьянка madame Сансо, у которой мы нанимали в Тононе квартиру со столом. Она узнала о заговоре другим путем (через свою сестру, служившую няней в доме русского агента Мальшинского) и окружила меня трогательной заботливостью. Домик ее находился за городом, и каждый раз, когда я отправлялся вечером в город, чтобы встретить жену на станции или за каким-нибудь делом, мадам Сансо всегда находила предлог послать со мной своего мужа с фонарем.

– Подождите минутку, господин Кропоткин, – говорила она, – мой муж тоже идет в город за покупками и, как вы знаете, всегда берет фонарь с собою.

А не то она посылала своего брата, чтобы он издали, так чтобы я не заметил, провожал меня.

Х. Переезд в Лондон. Год в Лондоне. Застой в Англии

В октябре или ноябре 1881 года, как только жена сдала экзамены, мы переехали из Тонона в Лондон, где прожили около года. Не особенно много времени прошло с тех пор, а между тем могу сказать, что умственная жизнь Лондона, да и всей Англии, сильно отличалась тогда от того, чем она стала всего через несколько лет. Каждому известно, что в сороковых годах Англия стояла почти во главе социалистического движения в Европе. Но в последовавшие затем годы реакции великое движение, широко захватившее рабочие классы, и во время которого все, что теперь известно под именем научного социализма и анархизма, было уже высказано, замерло, заглохло. Его забыли как в Англии, так и на континенте, а то движение, которое французские писатели называют третьим пробуждением пролетариата, еще не началось в Великобритании. Труды земледельческой комиссии 1871 года, пропаганда Джозефа Арча среди сельских работников и предшествовавшие усилия христианских социалистов, конечно, до некоторой степени расчистили путь. Но пробуждение социалистических стремлений, произведенное приездом в Англию Генри Джорджа в восьмидесятых годах и его книгой «Прогресс и бедность», еще не наступило.

Год, прожитый нами тогда в Лондоне, был настоящим годом ссылки. Для сторонника крайних социалистических взглядов не было атмосферы, чтобы жить. Того оживленного социалистического движения, которое я застал в полном разгаре при моем возвращении в 1886 году, еще не было и признака. О Бернсе, Чэмпионе, Кейр Гарди и других рабочих вожаках и слуха еще не было. Фабианцы не существовали, Вильям Моррис еще не объявил себя социалистом, а тред-юнионы, в которые в Лондоне входили только некоторые привилегированные отрасли промышленности, относились враждебно к социализму. Единственными деятельными и открытыми представителями социалистического движения были супруги Гайндман, вокруг которых группировались немногие рабочие. Осенью 1881 года они устроили небольшой конгресс; но он был так мал, что мы в шутку говорили, что весь конгресс жил на квартире у г-жи Гайндман. Даже более или менее окрашенное социализмом радикальное движение, которое, несомненно, совершалось тогда в умах, еще не выступало открыто. Те образованные мужчины и женщины, которые вышли в большом числе на арену общественной жизни четыре года спустя и, не становясь социалистами, приняли участие в различных движениях, имевших целью благосостояние или воспитание масс, – создавая таким образом новую атмосферу и новое общество реформаторов, – такие люди еще не проявляли себя. Они, конечно, существовали, и в наличности имелись все элементы широко распространенного движения. Но, не находя центров притяжения, которыми впоследствии стали социалистические группы, они затеривались в толпе, не знали друг друга и зачастую не знали самих себя.

Н. В. Чайковский жил тогда в Лондоне, и с ним, как в былые годы, мы начали пропаганду среди рабочих. Поддерживаемые немногими английскими рабочими, которые познакомились с нами на конгрессе 1881 года или которых преследование Иоганна Моста привлекло к социалистам, мы ходили в радикальные клубы, говорили о русских делах, о движении нашей молодежи в народ и о социализме вообще. Слушателей набиралось до

смешного мало: редко-редко больше десятка человек. Порой поднимался среди слушателей какой-нибудь седобородый чартист и с грустью говорил, что все, что мы проповедуем, высказывалось уже сорок лет тому назад и тогда восторженно приветствовалось толпами работников; но теперь все умерло и нет больше надежды на возрождение.

Гайндман только что выпустил прекрасное изложение теории социализма Маркса под названием «Англия для всех», и я помню, как летом 1882 года я убеждал его основать социалистическую газету. Я говорил ему, с какими ничтожными средствами мы начали издавать «Revolte» («Бунтарь»), и предсказывал ему успех. Но положение дел было так неприглядно, что даже Гайндман считал попытку безнадежной, – разве он сам внезапно разбогатеет и сможет сам покрывать издержки. Быть может, он был прав; но когда года два спустя он основал «Justice» («Справедливость»), рабочие охотно поддержали газету. В начале 1886 года в Англии выходили уже три социалистические газеты, и социал-демократическая федерация приобрела значительное влияние.

Летом 1882 года я произнес на ломаном английском языке речь перед дергамскими углекопами на их годовичном собрании. Я также читал в Нью-Кастле, в Глазго и в Эдинбурге лекции о русском движении, и меня принимали с большим энтузиазмом. Толпы работников восторженно кричали на улице, после лекции, ура в честь нигилистов. Но все-таки мы с женой чувствовали себя до такой степени одинокими в Лондоне, а усилия пробудить социалистическое движение в Англии казались до такой степени безнадежными, что осенью 1882 года мы решили снова переехать во Францию. Я был уверен, что там меня скоро арестуют, но мы часто говорили друг другу: «Лучше французская тюрьма, чем эта могила».

Тем, кто вечно толкует о медленности всякой эволюции, не мешало бы изучить развитие социализма в Англии. Эволюция – медленный процесс; но развитие ее никогда не бывает одинаково. Она имеет свои периоды замирания и периоды внезапного движения вперед.

XI. Отъезд из Лондона во Францию. Жизнь в Тононе. Шпионы. Договор Игнатьева с Исполнительным КОМИТЕТОМ

Мы опять остановились в Тононе и сняли квартиру у нашей прежней хозяйки мадам Сансо. К нам приехал из Швейцарии брат моей жены, находившийся в последнем фазисе чахотки.

Никогда не видел я такой кучи русских шпионов, как в те два месяца, что прожил в Тононе. Начать с того, что, как только мы поселились, какой-то подозрительный мужчина, выдававший себя за англичанина, снял другую часть дома. Стада, буквально стада русских шпионов осаждали дом и пытались проникнуть туда под различными предлогами, а то

попросту бродили взад и вперед под окнами, партиями в два, три и четыре человека. Воображаю себе, какие удивительные донесения сочинялись ими. Шпион должен доносить. Если он попросту скажет, что он простоял неделю на улице и ничего подозрительного не заметил, его живо прогонят.

То был золотой век русской тайной полиции. Игнатъевская политика принесла плоды. Две или три разных полиции усердствовали вперегонки и вели самые смелые интриги. Каждая имела в своем распоряжении кучу денег. Полковник Судейкин, например, устраивал заговоры с Дегаевым, убившим его впоследствии, выдавал женежским эмигрантам игнатъевских агентов и предлагал террористам в России убить – при его помощи – министра внутренних дел Толстого и великого князя Владимира. Судейкин прибавлял, что тогда его самого назначат министром внутренних дел с диктаторскими полномочиями и царь тогда всецело будет в его руках. Этот фазис развития тайной полиции достиг полного своего выражения в похищении принца Баттенбергского из Болгарии.

Французская полиция тоже находилась в возбужденном состоянии. Ее мучил вопрос: «Что он там делает в Тононе?» Я продолжал редактировать «Revolte», затем писал статьи для «Британской энциклопедии» и для «Newcastle Chronicle». Но это казалось им слишком прозаичным. Однажды местный жандарм явился к моей квартирной хозяйке. Он слышал с улицы стук какой-то машины и горел желанием послать донос об открытии у меня тайного печатного станка. Он явился, когда меня не было, и требовал у хозяйки, чтобы та ему показала станок. Мадам Сансо ответила, что никакого станка нет, и высказала догадку, что жандарм, вероятно, слышал стук ее швейной машины. Но тот не мог удовлетвориться таким банальным объяснением. Он заставил хозяйку шить на машине, а сам прислушивался в доме и под окнами, чтобы убедиться, походит ли стук на тот, который он слышал раньше.

– А что он делает весь день? – спросил жандарм у хозяйки.

– Пишет.

– Не может же он писать весь день!

– Он пилит дрова в саду, в полдень, а после обеда, между четырьмя и пятью, гуляет.

Дело было в ноябре.

– Ага! Вот оно. «A la tombee la nuit»![35]

И жандарм отметил в книжке: «Никогда из дому не выходит раньше, чем стемнеет».

В то время я не мог объяснить себе эту необычайную внимательность со стороны русских шпионов; но, вероятно, она находилась в связи со следующим обстоятельством. Когда Игнатъев стал министром внутренних дел, он по совету бывшего парижского префекта Андрие напал на новый план. Он послал рой своих агентов в Швейцарию, где один из них стал издавать газету, стоявшую за некоторое расширение земского самоуправления. Главная же задача издания заключалась в борьбе с революционерами и в группировке вокруг него всех эмигрантов, отрицательно относившихся к террору. То было, конечно,

средство посеять раздор. Затем, когда почти всех членов Исполнительного комитета арестовали в России и только два или три из них бежали в Париж, Игнатъев послал агента, чтобы предложить им перемирие. Он обещал, что больше казней по поводу заговоров, составленных в царствование Александра II, не будет, даже если бежавшие попадут в руки правительства, что Чернышевского выпустят из Вилюйска и что назначат комиссию для пересмотра положения всех сосланных административным путем в Сибирь. С другой стороны, Игнатъев требовал, чтобы Исполнительный комитет не делал новых покушений на царя, покуда не состоится коронация. Быть может, упоминались также реформы, которые Александр III собирался сделать в пользу крестьян. Договор был заключен в Париже, и обе стороны соблюдали его. Террористы прекратили военные действия. Правительство никого не казнило за прежние заговоры; но тех, которых арестовали, замуровали в Шлиссельбурге, в этой русской Бастилии, где никто не слышал о них за целые пятнадцать лет и где большинство из них томится до сих пор[36]. Чернышевского привезли из Сибири и поселили в Астрахани, отделив его от всего интеллигентного русского мира. В этом заточении он вскоре умер. В Сибирь послали комиссию, которая возвратила некоторых ссыльных и назначила сроки для всех остальных. Моему брату она надбавила пять лет.

Когда я был в Лондоне в 1882 году, мне тоже сказали раз, что человек, называющий себя агентом русского правительства и берущийся доказать это, желает вступить со мною в переговоры.

- Скажите ему, - передал я, - что, если он явится ко мне, я его сброшу с лестницы.

Игнатъев, считая царя обеспеченным от покушений Исполнительного комитета, боялся, по всей вероятности, что анархисты могут предпринять что-нибудь. Поэтому он желал, надо думать, запрятать меня подальше.

ХII. Франция в 1881-1882 годах.

Страдания рабочих в Лионе. Взрыв в кафе Бэлькур. Мой арест. Суд в Лионе

Анархическое движение во Франции значительно разрослось в 1881-1882 годах. Вообще принято было думать, что дух французов враждебен коммунизму, и поэтому в Интернациональной рабочей ассоциации проповедовался «коллективизм». В то время под коллективизмом подразумевалось обобществление средств производства и свобода для каждой группы производителей определить потребление на основе индивидуалистической или коммунистической. В действительности же французский дух враждебен только казарменному коммунизму, то есть фаланстериям старой школы и «армиям труда», о которых говорилось в сороковых годах. Когда же Юрская федерация на конгрессе 1880 года смело высказалась за анархический коммунизм, то есть за вольный коммунизм, анархические воззрения сейчас же нашли во Франции многих сторонников. Наша газета стала шире распространяться; мы вступили в деятельную переписку со многими

французскими рабочими, и значительное анархическое движение быстро развилось в Париже и в некоторых провинциях, в особенности же вокруг Лиона. Пересекая Францию, на пути из Тонона в Лондон, я посетил Лион, Сент-Этьен и Виенн, где читал лекции. В этих городах я нашел значительное число рабочих, готовых принять наши воззрения.

В конце 1882 года в Лионском округе свирепствовал страшный кризис. Производство шелков было совсем парализовано, а нищета среди ткачей была так велика, что множество детей толпилось по утрам у ворот казарм, где солдаты раздавали им остатки своего хлеба и супа. Тут началась, между прочим, популярность генерала Буланже, разрешившего солдатам раздачу остатков от их харчей. Углекопы во всей области тоже находились в крайне бедственном положении.

Я знал, что там началось значительное брожение, но за одиннадцать месяцев, проведенных мною в Лондоне, у меня порвались близкие связи с французским движением. Через несколько недель после моего возвращения в Тонон я узнал уже из газет, что у углекопов из Монсо-ле-Мин, приведенных в отчаяние притеснениями со стороны владельца шахт, – ревностных католиков, начался род восстания. Они устраивали тайные сходки и обсуждали всеобщую стачку; каменные кресты, стоявшие на всех дорогах вокруг шахт, были опрокинуты или же разрушены теми динамитными патронами, которые в большом количестве употребляются рудокопами в подземных работах и часто остаются у работников. В Лионе агитация тоже приняла более сильный характер. Анархисты, которых было довольно много в городе, не пропускали ни одного митинга оппортунистов без того, чтобы не говорить на нем, и брали платформу приступом, если им отказывали в слове. Тогда они постановляли резолюции в том смысле, что шахты, все орудия производства, а также жилые дома должны принадлежать народу. И эти резолюции – к ужасу буржуазии – принимались восторженно.

С каждым днем росло недовольство работников против городских советников и политических вожаков-оппортунистов, которые ничего не делали для облегчения растущей нищеты, а также против прессы, которая говорила с легким сердцем, как о пустой вещи, о таком важном кризисе. Как водится в подобных случаях, ярость беднейшей части населения направилась прежде всего против мест увеселения и распутства, которые тем более озлобляют массы в минуту страдания и отчаяния, что эти места являются для них олицетворением эгоизма и разврата богатых. Местом, особенно ненавистным работникам, было кафе в подвальном этаже театра Бэлькур, которое оставалось открыто всю ночь. Здесь до утра журналисты и политические деятели пиروвали и пили в обществе веселых женщин. Не было сходки, на которой не слышались бы полускрытые угрозы по адресу этого кафе, а раз ночью кто-то взорвал там динамитный патрон. Рабочий-социалист, оказавшийся случайно в кафе, кинулся, чтобы потушить зажженный фитиль патрона, но был убит взрывом, который также слегка ранил некоторых пирующих буржуа. На следующий день динамитный патрон взорвался в дверях рекрутского присутствия, и пошла молва, что анархисты намереваются взорвать громадную статую богородицы на холме Фурвиер, близ Лиона. Нужно жить в Лионе или в его окрестностях, чтобы видеть, до какой степени население и школы находятся еще в руках католических попов, и чтобы понять ту ненависть, которую питает к духовенству все мужское население.

Паника охватила лионскую буржуазию. Арестовали шестьдесят анархистов – всех рабочих, за исключением одного Эмиля Готье, дававшего в то время серию лекций в Лионском округе. Лионские газеты стали в то же время систематически убеждать правительство, чтобы оно арестовало меня; они выставляли меня вожаком агитации, нарочно прибывшим из Англии, чтобы руководить движением. Опять в нашем маленьком городе стали прогуливать своры русских шпионов. Почти ежедневно я получал послания, очевидно написанные шпионами международной полиции, с указанием какого-нибудь динамитного заговора или с таинственными упоминаниями о партиях динамита, отправленных ко мне. Я собрал целую коллекцию подобных писем и отмечал на каждом: «Police Internationale». Французская полиция забрала ее у меня при обыске, но этих писем она не посмела предъявить на суде. Их, впрочем, мне не возвратили.

В декабре сделали обыск у меня в доме, совсем по-русски. Задержали также на станции и обыскали жену, отправляющуюся из Тонона в Женеву. Конечно, не нашли ничего компрометирующего меня или других.

Прошло десять дней, во время которых я мог бы свободно уехать, если бы захотел. Я получил несколько писем с советом бежать; одно из них – от неведомого русского друга, быть может, члена дипломатического корпуса, который, по-видимому, знал меня когда-то. Он советовал мне скрыться немедленно, потому что иначе я могу сделаться жертвой договора о выдаче, который должен быть заключен между Францией и Россией. Я остался на месте; а когда в «Times» появилась телеграмма с сообщением о моем побеге из Тонона, я написал письмо в редакцию этой газеты, указал мой адрес и заявил, что не думаю скрываться, после того как арестовано так много моих друзей.

В ночь на 21 декабря мой шурин умер у меня на руках. Мы знали, что его болезнь неизлечима, но всегда страшно тяжело видеть, как на ваших глазах гаснет молодая жизнь после упорной борьбы со смертью. Мы с женой были в страшном горе: мы оба очень любили этого прекрасного юношу... Часа три спустя, когда стало брезжить утро печального зимнего дня, явились жандармы арестовать меня. Видя, в каком состоянии была жена, я просил остаться с ней до похорон на честное слово, что явлюсь к назначенному сроку в тюрьму. Но мне отказали, и в ту же ночь меня отвезли в Лион. Элизэ Реклю, которого известили телеграммой, явился немедленно и проявил в отношении к моей жене всю доброту своего золотого сердца. Прибыли друзья из Женевы. Хотя похороны носили чисто гражданский характер, чего раньше никогда не бывало в нашем городке, половина всего населения шла за гробом. Оно желало этим показать моей жене, что симпатии бедноты и савойских крестьян были с нами, а не с правительством. Когда начался мой процесс, крестьяне следили за ним изо дня в день и спускались из горных деревень в город, чтобы купить газеты и узнать, как обстоят мои дела на суде.

Глубоко тронул меня также приезд в Лион одного знакомого англичанина. Он был прислан хорошо известным и уважаемым в Англии радикалом Джозефом Коуэном, в семье которого я провел в Лондоне немало счастливых часов в 1882 году. Посланный привез значительную сумму денег, чтобы взять меня на поруки. В то же время он передал мне желание лондонского друга, чтобы я не заботился о судьбе залога и немедленно уезжал из Франции. Каким-то таинственным путем мой знакомый ухитрился даже иметь свободное свидание со

мной, то есть личное, а не в клетке за двумя решетками, как я виделся всегда с женой. Он был также сильно взволнован моим отказом принять его предложение, как и я трогательным проявлением дружбы со стороны лица, к которому, как и к его замечательно хорошей жене, я и прежде уже относился с большим уважением.

Французское правительство пожелало произвести сильное впечатление на массы большим процессом, но оно не могло преследовать арестованных анархистов за взрывы. Для этого пришлось бы передать разбор дела присяжным, которые, по всей вероятности, оправдали бы нас. Поэтому правительство прибегло к маккиавеллиевскому способу – преследованию за принадлежность к Интернационалу. Во Франции существует закон, изданный немедленно после падения Коммуны, по которому принадлежащие к этой ассоциации могут быть переданы обыкновенному полицейскому суду и могут быть приговорены им до пяти лет тюремного заключения. Полицейский же суд всегда выносит приговор, угодный правительству.

Суд начался в Лионе в начале января 1883 года и продолжался почти две недели. Обвинение было смешно, так как все знали, что лионские работники никогда не принадлежали к Интернационалу; оно даже вполне провалилось, как это видно из следующего эпизода. Единственным свидетелем со стороны обвинения был начальник тайной полиции в Лионе – пожилой человек, к которому суд относился с необычайным уважением. Его показания, должен я сказать, фактически были совершенно верны. «Анархисты, – говорил он, – приобрели себе многочисленных сторонников среди населения. Они сделали митинги оппортунистов невозможными, так как говорили на каждом из них, проповедовали коммунизм и анархизм и увлекали таким образом слушателей». Видя, что начальник тайной полиции показывает согласно с истиной, я решился задать ему вопрос:

– Слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы в Лионе говорилось об Интернациональном товариществе рабочих?

– Никогда! – ответил он угрюмо.

– Когда я возвратился с Лондонского конгресса в 1881 году и сделал все возможное, чтобы возродить Интернационал во Франции, имел ли я успех?

– Нет. Работники нашли Интернационал недостаточно революционным.

– Благодарю вас, – сказал я; затем, обратившись к прокурору, прибавил, – вот вам все здание обвинения, разрушенное вашими же собственными свидетелями.

Тем не менее нас всех приговорили за принадлежность к Интернационалу. Четырех из нас присудили к высшему наказанию – к пятилетнему заключению и к штрафу в две тысячи франков; остальных – к заключению на сроки от четырех лет до одного года. В действительности обвинители наши и не пытались доказать существование Интернационала. Об этом, по-видимому, совершенно забыли. Нам попросту предложили говорить об анархизме, что мы и сделали весьма охотно. А когда кто-то из лионских товарищей попытался выяснить пункт о взрыве, ему грубо заметили, что нас преследуют не за взрывы, а за участие в Интернационале, к которому, кстати, кроме меня, никто не

принадлежал.

В подобных процессах всегда бывает какой-нибудь элемент комизма, и на этот раз он был внесен одним моим письмом. Построить обвинение решительно было не на чем. Десятки обысков были произведены в квартирах французских анархистов; но нашли только два моих письма. Прокурор пытался выжать из них все, что возможно. Одно из них я писал французскому работнику, который как-то пал духом. Я говорил ему о знаменательной эпохе, в которой мы живем, о наступающих великих переменах, о зарождении и распространении новых идей... Письмо было невелико, представитель обвинения ничего не сумел извлечь из него. Что касается до второго письма, то оно было на двенадцати страницах. И тут то прокурор отличился. Я написал его тоже другу французу, молодому башмачнику. Он зарабатывал средства к жизни тачанием башмаков у себя на дому. Налево от него стояла железная печурка, на которой он сам стряпал свой суп, а справа – столик, на котором он писал длинные письма к товарищам, не вставая с низенькой сапожничьей скамьи. Ставав ровно столько пар башмаков, чтобы хватило на покрытие крайне скромных расходов и осталось несколько франков, чтобы послать старухе матери в деревню, мой друг целыми часами писал письма, в которых с замечательным здравым смыслом и проницательностью развивал принципы анархизма. Теперь он хорошо известный во Франции писатель и уважается всеми за открытый характер, прямоту и здравый политический смысл. К несчастью, в то время он мог исписать восемь или десять страниц и нигде не поставить ни одной точки или хотя бы запятой. Раз я написал ему предлинное письмо, в котором объяснил, что на бумаге мысли разделяются на главные предложения и на придаточные, что первые следует отделять точкой или точкой с запятой, а для вторых – не пожалеть хотя бы запятую. Я объяснил приятелю, как много выиграют его писания, если он примет эту маленькую предосторожность.

Это письмо прокурор прочел на суде и прибавил к нему патетические комментарии:

– Вы слышали, милостивые государи, письмо, – начал он, обратившись к суду. – На первый взгляд в нем нет ничего особенного. Подсудимый дает урок грамматики рабочему... Но, – и тут голос прокурора задрожал от сильного волнения, – делал он это вовсе не для того, чтобы помочь бедному работнику в приобретении знаний, которых он, по всей вероятности из лени, не получил в школе. Не для того, чтобы пособить ему честно заработать свой хлеб... Нет, милостивые государи! Это письмо написано для того, чтобы внушить ему ненависть к нашим великим и прекрасным учреждениям, для того, чтобы лучше напитать его ядом анархизма, с единственной целью сделать его более страшным врагом общества... Да будет проклят день, когда Кропоткин ступил на французскую почву!

Мы не могли удержаться и хохотали, как дети, во время всей этой филиппики. Судьи глядели на прокурора, как бы желая сказать ему: «Довольно!» – но тот вошел в азарт, ничего не замечал и, увлеченный потоком собственного красноречия, гремел, впадая все больше и больше в театральный тон. Он усердствовал из всех сил, чтобы получить награду от русского правительства, которая и была ему действительно дана.

Вскоре после осуждения председатель полицейского суда получил повышение и был сделан членом окружного суда. Что касается прокурора и до другого члена полицейского суда, – то

- трудно поверить этому - русское правительство прислало им по Анне, и французское правительство разрешило принять ордена! Таким образом, знаменитый франко-русский союз зародился еще в Лионе, после нашего процесса.

Этот процесс, во время которого были произнесены воспроизведенные всеми газетами блестящие анархические речи такими первоклассными ораторами, как рабочий Бернар и Эмиль Готье, и во время которого все обвиняемые держались мужественно и в течение двух недель пропагандировали свое учение, имел громадное влияние, расчистив ложные представления об анархизме во Франции. Без сомнения, он в известной степени содействовал пробуждению социализма и в других странах. Что касается осуждения, оно до такой степени мало оправдывалось фактами, что французская пресса, за исключением газет, преданных правительству, открыто осуждала судей. Даже умеренный «Journal des Economistes» открыто не одобрял приговора, «которого отнюдь нельзя было предвидеть на основании фактов, установленных во время процесса». В состязании между нами и судом выиграли мы. Общественное мнение высказалось в нашу пользу. Немедленно же в парламент было внесено предложение об амнистии, за которое подали голоса около сотни депутатов. Предложение вносилось потом правильно каждый год, заручаясь все большим и большим числом голосов, покуда наконец нас освободили.

XIII. Лионская тюрьма. Пагубное влияние тюрем с общественной точки зрения. В центральной тюрьме Клэрво. Занятия заключенных. Печальное положение старых арестантов. Тюремные будни. Деморализующее влияние тюрем

Суд кончился, но мы еще месяца два оставались в лионской тюрьме. Большинство моих товарищей апеллировало на решение полицейского суда и ждало ответа. Я же - с четырьмя друзьями - отказался принять какое-либо участие в апелляции и продолжал работать в своей камере. Мой большой приятель Мартэн, суконщик из Виенна, сидел в соседней камере, и так как мы уже были осуждены, то нам разрешили гулять вместе. Когда же нам хотелось поболтать в течение дня, мы перестукивались - точь-в-точь, как в России. Декабристская азбука и тут пригодилась.

Уже во время моего заключения в Лионе я начал понимать то страшно деморализующее влияние, которое тюрьма имеет на арестантов. И эти наблюдения впоследствии, во время

трехлетнего пребывания в Клэрво, заставили меня решительно высказаться против всей тюремной системы вообще.

Лионская тюрьма – «современная» тюрьма, построенная в виде звезды, по камерной системе одиночного заключения. Она занимает огромное пространство, окруженное двойным поясом высоких каменных стен. При ее постройке, очевидно, руководились современными идеями в тюремном вопросе, причем были приняты также меры, чтобы можно было обратиться в форт в случае бунта в Лионе. Пространства между лучами звезды заняты маленькими, вымощенными асфальтом двориками. Если позволяет погода, заключенных выводят сюда на работы. Главное их занятие состоит в приготовлении шелковых оческов. В известные часы в дворики выводили также множество детей, и я часто наблюдал из моего окна эти исхудалые, изможденные, плохо кормленные существа, представлявшие, скорее, тени детей. Все эти истощенные лица и исхудалые, дрожащие тела носили явные следы анемии, и зло увеличивалось не только в дортуарах, но даже во дворе, среди бела дня. Что выйдет из этих детей, когда они оставят подобные школы с разрушенным здоровьем, с вытравленной волей, с надломленной энергией? Анемия, убивающая энергию и охоту к труду, ослабляющая волю, разрушающая умственные способности и развращающая воображение, подстрекает к преступлению в гораздо большей степени, чем полнокровие. Именно этот враг рода человеческого воспитывается в тюрьмах. А к тому еще надо прибавить влияние тюремного образования, получаемого в этой ужасной обстановке! Даже если бы возможно было полное разобшение арестантов, – что недостижимо, – оно не помогло бы. Тюремный воздух насыщен прославлением той страсти к азарту, которая составляет самую сущность воровства, плутовства и других противообщественных поступков того же порядка. В этих питомниках, которые государство содержит, а общество терпит только потому, что не желает слышать обсуждения и анализа его собственных зол, воспитываются целые поколения будущих преступников. «Попал ребенком в тюрьму, умереть тебе острожником» – вот что слышал я впоследствии от всех интересующихся вопросом о тюрьмах. И когда я видел этих детей и понял, что ждет их в будущем, я не мог не задать себе вопрос: «Кто больший преступник: этот ли ребенок или судья, приговаривающий ежегодно сотни детей к подобной участи?» Я охотно допускаю, что преступление судьи бессознательно. Но действительно ли так сознательны все преступления, за которые людей отправляют в тюрьму?

В первые же недели моего заключения меня поразило еще одно обстоятельство, которое, однако, ускользает от внимания судей и криминалистов. Я хочу сказать, что тюрьма в большинстве случаев, не говоря уже об ошибках правосудия, представляет наказание, карающее людей совершенно невинных гораздо более сурово, чем самих осужденных.

Почти все мои товарищи – типичные представители французского рабочего населения – поддерживали своим трудом или жен и детей, или сестру, или старуху-мать. Оставшись без поддержки, все эти женщины сделали все возможное, чтобы достать работу. Некоторые достали; но ни одна из них не могла правильно зарабатывать хотя бы полтора франка в день. Девять, а иногда и семь франков – вот все, что они могли добыть в неделю для поддержания себя и детей. Это означало, конечно, недоедание и лишения всякого рода; расстроенное здоровье женщин и детей: затем – ослабление умственных сил, энергии и воли... Я понял тогда, что приговоры, постановляемые судом, в сущности, налагают на

совершенно невинных людей всякого рода страдания, которые, в большинстве случаев, горше выпадающих на долю самих осужденных. Принято вообще полагать, что закон наказывает преступника, налагая на него всякие физические и нравственные мучения. Но человек – существо, привыкающее мало-помалу ко всяким условиям жизни. Если он не может изменить их, он принимает их как нечто неизбежное и мало-помалу приспособляется к ним точно так же, как он привыкает к хронической болезни и становится нечувствительным к ней. Но что приходится во время его заключения на долю его жены и детей – людей, ни в чем не повинных? Закон карает их еще с большей жестокостью, чем самого преступника. И при нашей косности мысли и рутине никто никогда не подумает даже о той великой несправедливости, которая творится. Я сам не думал о ней, пока действительность не выдвинула предо мной факты во всей их наготы.

Меня посадили в одиночную камеру. Камера имела три метра в длину и два метра в ширину. В камере имелась железная кровать, небольшой столик и маленький табурет, все наглухо прикрепленные к стенам. В лионской тюрьме одиночки очень грязны, переполнены клопами. Каждый арестант должен сам чистить свою камеру, то есть он спускается утром на тюремный двор, где выливает и моет свою «парашу», испарениями которой он дышит в продолжение всего дня.

В середине марта 1883 года двадцать два человека из нас, осужденные больше чем на год, были с необыкновенной таинственностью перевезены в центральную тюрьму в Клэрво. Когда-то тут было аббатство бернардинских монахов, превращенное во время Великой революции в приют для неимущих. Впоследствии из него сделали исправительную тюрьму, и она получила от заключенных и даже от начальства вполне заслуженную кличку «Maison de detention et de corruption» (дом заключения и развращения).

До тех пор пока мы сидели в Лионе, с нами обходились, как вообще обращаются во Франции с заключенными до суда, то есть мы ходили в своем платье, имели право получать пищу из ресторана и за несколько франков в месяц могли нанимать несколько большую камеру – так называемую *pistole*. Я воспользовался этим правом, чтобы усиленно работать над статьями для «Encyclopaedia Britannica» и для «Nineteenth Century». Теперь нас интересовало, как с нами будут обращаться в Клэрво. Но во Франции вообще принято полагать, что для политических заключенных потеря свободы и вынужденная бездеятельность уже сами по себе тяжелое наказание, так что незачем отягчать его. Поэтому нам объявили, что нас оставят на положении предварительного заключения: нам дадут отдельные камеры, позволят носить свое платье, освободят от принудительных работ и разрешат курить.

– Те из вас, – сказал смотритель, – которые пожелают заработать что-нибудь ручным трудом, могут шить корсеты или гравировать небольшие вещицы из перламутра. Все это плохо оплачивается, но вы не можете работать в тюремных мастерских, где изготавливаются железные кровати, рамы для картин и тому подобное, потому что для этого вас пришлось бы поместить вместе с уголовными арестантами.

Как и другим заключенным, нам позволили покупать в тюремной маркитантской кое-какую добавочную пищу и полбутылки красного вина в день. Все это было хорошего качества и доставлялось по очень дешевой цене.

Первое впечатление, произведенное на меня Клэрво, было самое благоприятное. Мы пробыли в дороге целый день, с двух или трех часов утра, в маленьких клетках, на которые обыкновенно разделяются арестантские вагоны. Когда мы прибыли в тюрьму, нас поместили временно в здании одиночного заключения. Крошечные камеры были здесь обычного типа, очень чистые. Несмотря на поздний час ночи, нам дали простую, но превосходного качества горячую пищу. Предоставили нам также возможность получить по полбутылке хорошего *vin du pays*[37], которое продавалось в тюремной маркитантской всего по гривеннику (двадцать четыре сантим) за литр. Смотритель и надзиратель были с нами чрезвычайно вежливы.

На другой день смотритель повел меня показывать предназначавшиеся для нас помещения. Когда же я заметил, что они хороши, но только маловаты для двадцати двух человек и что поэтому от скученности могут произойти болезни, он сейчас же выбрал нам другой ряд комнат в здании, где когда-то жил настоятель монастыря, а теперь помещался госпиталь. Наши окна выходили в маленький сад, и из них открывался чудесный вид на окрестность. В том же самом отделении, в соседней комнате, старый Бланки провел три или четыре года до своего освобождения. Раньше этого он содержался в здании для одиночного заключения.

Таким образом, в нашем распоряжении были три просторные комнаты и одна поменьше, отведенная мне и Готье, так что мы могли продолжать литературную работу. По всей вероятности, эта последняя любезность объяснялась ходатайством значительного числа английских ученых, которые, как только меня осудили, подписали петицию о моем освобождении. Среди подписавших были многие сотрудники «*Encyclopaedia Britannica*», в том числе Герберт Спенсер и поэт Суинберн (*Swinburne*). Виктор Гюго кроме подписи прибавил еще несколько красноречивых слов. Вообще общественное мнение во Франции приняло очень неблагоприятно наше осуждение. Когда моя жена упомянула в Париже, что мне нужны книги, то Академия наук предложила свою библиотеку, а Эрнест Ренан в очень милом письме предоставил в мое распоряжение все свои книги.

У нас был небольшой садик, в котором мы могли играть в кегли или в *jeu de boule*[38], причем во время последнего поднимался такой гам, на который только способны французы и южане. Кроме того, мы разработали небольшую грядку вдоль стены и на пространстве в восемьдесят квадратных метров выращивали почти невероятные количества салата, редиски и кое-каких цветов. Нечего и говорить, что мы сейчас же устроили курсы, и в течение трех лет пребывания в Клэрво я читал моим товарищам лекции по космографии, геометрии и физике, а также помогал им при изучении иностранных языков. Почти все они изучили по крайней мере один язык: английский, немецкий, итальянский или испанский. Некоторые же изучали два. Занимались мы также переплетным делом, учась ему по одному из томиков превосходной «*Encyclopedie Roret*»[39].

Несмотря на это, к концу первого года мое здоровье снова подалось. Клэрво выстроено на болотистой почве; малярия здесь имеет эпидемический характер, и малярия с цингой привязались ко мне. Тогда моя жена, учившаяся в Париже и работавшая в лаборатории Вюрца, подготовляясь к экзамену на степень доктора естественных наук, бросила все и переселилась в деревушку Клэрво, состоящую всего из десятка домиков, уютных у громадной стены, окружающей тюрьму. Разумеется, жизнь ее в полном одиночестве в

деревушке, рядом с тюрмой, не была красна; но она пробыла здесь, покуда меня не освободили. В течение первого года ей разрешали свидание со мной только раз в два месяца, и то в присутствии надзирателя, сидевшего между нами. Но когда она твердо выразила намерение остаться в Клэрво, ей разрешили видеть меня ежедневно в одном из домиков, лежащих в тюремной ограде, где находился караульный пост. Пищу мне приносили из той гостиницы, где жила жена. Впоследствии нам позволили даже гулять в саду смотрителя под строгим надзором сторожа. Один из товарищей обыкновенно присоединялся к нам во время этой прогулки.

К моему удивлению, я открыл, что центральная тюрьма в Клэрво – целый промышленный городок, окруженный фруктовыми садами и хлебными полями и обнесенный внешнею стеною непомерной длины. Факт тот, что если во французской центральной тюрьме заключенные, быть может, более находятся в зависимости от произвола и капризов смотрителя и надзирателей, чем в английской тюрьме, зато обращение с арестантами гораздо гуманнее, чем в соответствующих учреждениях по ту сторону Ламанша. Средневековая система возмездия, которая господствует еще в английских тюрьмах, давно уже исчезла во французских. Заключенного не заставляют спать на голых досках и не дают ему матрац только через день. Как только арестант поступает в тюрьму, ему дают удовлетворительную постель, которую и не отнимают больше. Его не принуждают к унижающей работе, как топтание на колесе или расщипывание просмоленного каната для получения пеньки. Арестант, напротив, делает полезную работу, и вот почему тюрьма в Клэрво носит характер промышленного города. Тысяча шестьсот заключенных, содержащихся в ней, изготавливают железные кровати, рамы для картин, зеркала, меры, бархат, полотно, дамские корсеты, мелкие вещицы из перламутра, деревянные башмаки и вместе с тем возделывают несколько пшеницы, овса и овощей.

Кроме того, если наказание за непослушание очень жестоко, зато нет сечения, которое практикуется еще в английских тюрьмах. Такое наказание было бы абсолютно невозможно во Франции. В общем можно сказать, что Клэрво лучшая тюрьма в Европе. А между тем результаты, получаемые здесь, так же плохи, как во всякой другой тюрьме старого типа. «Все твердят теперь, что заключенные исправляются в наших тюрьмах, – говорил мне один из членов тюремной администрации. – Все это вздор. Я ни за что не позволю себе поддерживать подобную ложь».

Под нашими камерами находилась аптека, и мы порой приходили в соприкосновение с арестантами, работавшими там. Один из них был седой старик лет пятидесяти пяти, которому вышел срок, когда мы были в Клэрво. Трогательно было видеть, как он прощался с тюрмой. Он знал, что через несколько месяцев или даже недель попадет обратно, и поэтому заранее просил доктора побережь ему в аптеке место. Старик был не в первый раз в Клэрво и знал, что не в последний раз. Когда его освободили, у него не было ни души, к кому он мог бы пойти, чтобы найти приют на старость. «Кто захочет дать мне работу? – говорил он. – И какое ремесло я знаю? Никакого! Когда меня выпустят, только мне и хода, что к прежним товарищам. Они по крайней мере, наверное, примут меня как старого друга». Затем в их компании пропуская лишнего стакан, следовал возбуждающий разговор о каком-нибудь ловком деле, об отличной штуке, которую можно сделать новым воровством, и частью по слабыхарактерности, частью, чтобы угодить друзьям, старик присоединялся к ним

и снова попадал в тюрьму. Так повторялось уже несколько раз. Прошло, однако, два месяца после освобождения старика, а он не возвращался в Клэрво. Тогда арестанты и даже надзиратели начали беспокоиться. «Неужели он успел перебраться в другой судебный округ, что его еще нет обратно? – говорили все. – Лишь бы бедняга не впутался в какое-нибудь «скверное дело» (подразумевалось под этим что-нибудь худшее, чем воровство); жалко было бы такой славный, спокойный старик». Скоро, однако, выяснилось, что верно было первое предположение. Пришла весточка из другой тюрьмы, что наш старик сидит там и хлопчет о переводе в Клэрво.

Старые арестанты представляли самое печальное зрелище. Для многих из них тюремный опыт начался в детстве или с ранней юности, другие попали в тюрьму в зрелом возрасте, но... «раз попал в тюрьму, значит, тюрьма на всю жизнь». Такова поговорка, сложенная на основании опыта. И теперь, перевалив за шестьдесят, старики знали, что им предстоит окончить жизнь в заключении. Как бы для того, чтобы ускорить их смерть, тюремное начальство отправляло их в мастерские, где изготовлялись из разного шерстяного отброса войлочные чулки. Пыль, стоящая в мастерских, быстро зарождала в стариках чахотку, которая и уносила их. Тогда четыре арестанта относили старого товарища в общую могилу. Кладбищенский сторож и его черная собака были единственными существами, провожавшими гроб. Тюремный священник, шедший впереди, машинально бормотал свои молитвы и рассеянно глядел на каштаны и ели по сторонам дороги, четыре товарища только радовались своей минутной свободе. И лишь черная собака, по-видимому, чувствовала трогательность процессии.

Когда во Франции ввели реформированные центральные тюрьмы, то предполагалось, что возможно будет поддерживать в них систему абсолютного молчания. Но она до такой степени противна всему человеческому, что строгое применение системы пришлось оставить.

Поверхностному наблюдателю тюрьма кажется совершенно немой, но в действительности в ней идет такая же деятельная жизнь, как в маленьком городке. Вполголоса, оброненными мимоходом словами, произнесенными шепотом, или же через посредство наскоро нацарапанных строчек на клочках бумаги, в тюрьме немедленно передаются из конца в конец все новости. Все случаемое между самими заключенными или на парадном дворе, где живет администрация, или в деревне Клэрво, или в широком мире парижской политики немедленно передается во все общие и одиночные камеры и в мастерские. Французы слишком общительны по природе, чтобы удалось совершенно запретить им говорить. Мы не имели никаких сношений с уголовными арестантами, а между тем знали все новости дня. «Садовник Жан снова попал на два года». «Инспектора жена здорово подралась с женою такого-то». «Жака, который в одиночном, поймали, когда он передавал словцо Жану из рамочной мастерской». «Старая скотина N больше не министр юстиции. Министерство пало». И так далее. А когда узнают, что Жан обменял у тюремного сторожа два фланелевых жилета, купленных за пятнадцать франков у тюремной администрации, на две пачки табаку в пятьдесят сантимов, то весть в одно мгновение распространяется по всей тюрьме. Со всех сторон к нам обращались за табаком. Раз как-то сидевший в тюрьме мелкий ходатай по делам захотел передать мне записку, чтобы я попросил мою жену, жившую в деревне, навестить его жену, тоже поселившуюся там. Множество арестантов приняли живейшее

участие в передаче этой записки, которая должна была пройти бог весть сколько рук, покуда достигла своего назначения. А когда в парижских газетах появилась заметка, которая могла заинтересовать нас, номер газеты попадал к нам самым неожиданным путем, например через высокую стену нашего сада, с завернутым в газету камнем.

Одинокое заключение не прекращает сношений. Когда мы прибыли в Клэрво и нас поместили в одиночках, в них было страшно холодно, так что я едва мог писать, и когда жена моя, жившая тогда в Париже, получила мое письмо, она даже не узнала почерка. Директор отдал приказ топить камеры, насколько возможно, но, несмотря на все старания, в них холод стоял такой же, как и прежде. Оказалось, что все паровые трубы были забиты клочками бумаги, обрывками записок, перочинными ножичками и всякого рода мелочами, которые прятались там несколькими поколениями арестантов.

Пьер Мартэн, тот самый мой приятель, о котором я уже упомянул, получил разрешение отбыть часть своего срока в одиночном заключении. Он предпочитал быть один, чем с десятками людей в одной камере. Однако, к великому своему изумлению, Мартэн нашел, что он вовсе не один. Стены и замочные скважины говорили вокруг него. Через два-три дня во всех одиночных камерах знали уже, кто он такой, и он завел знакомство во всем здании. В камерах, по-видимому изолированных, кипит жизнь, как в улье. Эта жизнь только принимает иногда такой характер, который относит ее всецело к области психопатологии. Даже Крафт Эбинг не имел представления о тех извращениях чувств, которые встречаются в одиночных камерах.

Я не стану повторять здесь того, что сказал уже о нравственном влиянии тюрем на заключенных в моей книге «В русских и французских тюрьмах», изданной по-английски в Лондоне в 1886 году, вскоре после моего освобождения из Клэрво. Ограничусь лишь следующим. Тюремное население состоит из разнородных элементов. Принимая во внимание только так называемую категорию собственно «преступников», о которой мы так много слышали в последнее время от Ломброзо и его учеников, я был крайне поражен одним фактом. Тюрьмы, обыкновенно рассматриваемые как гарантии от противообщественных поступков, в сущности, являются рассадником самих этих поступков. Всякому известно, что отсутствие образования, отвращение к правильному труду, физическая неспособность к напряженному усилию, неверно направленная любовь к приключениям, склонность к игре, отсутствие энергии, невыработанная воля и равнодушие к благу других являются причинами, приводящими этот класс заключенных в тюрьмы. Во время моего заключения меня, однако, сильно поразило тот факт, что именно эти недостатки, и каждый из них в отдельности, неизбежно усиливаются в тюрьме. И развиваются они именно потому, что такова сущность тюрьмы; покуда существуют тюрьмы, они будут развивать их.

Всякий раз когда я видел в Клэрво арестанта, лениво передвигавшегося по двору в сопровождении также лениво шагавшего за ним надзирателя, я мысленно переносился к дням моей юности, в дом отца, в крепостную эпоху. Арестантская работа – работа рабов, а такого рода труд не может вдохновить человека, не может дать ему сознание необходимости труда. Арестанта можно научить ремеслу, но любви к этому ремеслу ему нельзя привить. Напротив, в большинстве случаев он привыкает относиться к труду с

ненавистью.

Не подлежит сомнению, что продолжительное заключение разрушает неизбежно, фатально – энергию в человеке; оно убивает к тому же еще и волю. Заключение не находит в тюремной жизни необходимости упражнять свою волю. Наоборот, если он ее имеет, то с нею наживет себе беды: воля арестанта должна быть, по мнению начальства, убита, и ее убивают. Еще меньше возможности находит он для проявления естественной симпатии. Все делается так, чтобы помешать арестанту сноситься в стенах или за стенами тюрьмы с теми, к которым он чувствует влечение. Затем заключенный, по мере того как проходят годы, все меньше и меньше становится способным в физическом и умственном отношении к напряженной работе. И если он уже прежде не любил регулярную работу, то это чувство только усиливается во время его острожной жизни.

Если прежде, чем человек попал в тюрьму, его утомлял монотонный труд, который он не способен был выполнять надлежащим образом, или если он невзлюбил чрезмерную, плохо оплачиваемую работу, на которую обречен рабочий, то в тюрьме это чувство превращается в полное отвращение. Если прежде он только сомневался в полезности ходячих правил нравственности, то теперь, бросивши критический взгляд на официальных защитников этих правил и узнавши, как смотрят на них товарищи, он открыто бросает старый кодекс морали за борт. И если болезненное развитие страстного и чувственного темперамента толкнуло человека на преступное деяние, эта болезненная черта характера еще более разовьется за несколько лет заключения и достигает во многих случаях ужасающих размеров. В последнем направлении – наиболее опасном – сильнее всего сказывается влияние тюремного воспитания.

В Сибири я видел, какими безднами мерзости и какими очагами физического и нравственного развращения являются наши старые, грязные, переполненные арестантами остроги. Тогда, двадцатилетнему юноше, мне казалось, что эти учреждения могут быть значительно улучшены, если камеры не будут переполнены, если арестантов разделят на категории и дадут им здоровую работу. Теперь приходилось отказаться от всех этих иллюзий. Я мог убедиться, что самые лучшие, «реформированные» тюрьмы – все равно, будут ли они одиночные или нет, – в отношении к арестантам и относительно пользы для общества так же плохи, как и старые, дореформенные остроги, если не хуже. Они не исправляют заключенных. Напротив, в громадном большинстве случаев они имеют самое пагубное влияние. Вор, плут, грабитель, прошедшие несколько лет в тюрьме, выходят оттуда еще более готовыми приняться за старую профессию. Они теперь лучше подготовлены: они изучили все тайны ремесла и более озлоблены против общества. Они находят теперь лучшее оправдание своему восстанию против законов и обычаев. По необходимости, неизбежно человек все больше и больше погружается в противообщественные проступки, раз уже приведшие его в суд. То преступление, которое он совершит после освобождения, неизбежно будет более серьезного характера, чем то, за которое он попался в первый раз. И ему предопределено умереть или в тюрьме, или на каторге. В вышеупомянутой книге я говорил, что тюрьмы – «университеты преступности, содержимые государством». И теперь, думая через много лет об этом, я – на основании массы новых фактов – могу только повторить то же самое.

Лично я не имею никакого основания жаловаться на годы, проведенные мною во французской тюрьме. Для деятельного и независимого человека потеря свободы и деятельности сама по себе уже такое большое лишение, что обо всех остальных тюремных лишениях не стоит и говорить. Без сомнения, мы сильно томимся нашею вынужденною бездеятельностью, когда до нас доходили слухи про оживленную политическую жизнь, начинавшуюся во Франции. Конец первого года, в особенности в мрачную зиму, всегда тяжел для заключенного. И когда наступает весна, больше чем когда-либо чувствуется лишение свободы. Когда я видел из окна камеры, как луга снова покрываются зеленью, а на холмах опять висит весенняя дымка; когда в долине, бывало, промчится поезд, я, конечно, испытывал сильное желанье последовать за ним, подышать лесным воздухом или унести в поток человеческой жизни в большом городе. Но тот, кто связывает свою судьбу с тою или другою крайнею партией, должен быть готов провести годы в тюрьме, и ему не следует на это роптать. Он сознает, что даже в заключении он не перестает в известной степени содействовать прогрессу человечества, который развивает и укрепляет дорогие ему идеи.

В Лионе тюремные надзиратели были очень грубый народ; в этом имели возможность убедиться мы все: товарищи, моя жена и я сам. Но после нескольких стычек все уладилось. На придачу администрация знала хорошо, что за нас – парижская пресса, и вовсе не желала навлечь на свои головы грома Рошфора или жгучую критику Клемансо. В Клэрво, оказалось, дело обошлось без столкновений. Всю администрацию сменили за несколько месяцев до нашего прибытия. Надзиратели убили в камере одного из арестантов и повесили потом его тело, чтоб представить смерть как самоубийство. Но дело выплыло на этот раз благодаря врачу. Главного смотрителя и нескольких помощников сместили, и совершенно иные отношения установились в тюрьме. Вообще я вынес из Клэрво самые лучшие воспоминания о директоре и в конце концов во время моего пребывания там не раз думал, что люди часто бывают лучше, чем те учреждения, к которым они принадлежат. Но, не имея личных жалоб, я тем более свободно и безусловно могу отрицать само учреждение как пережиток мрачного прошлого, ошибочный в принципе и являющийся источником бесчисленных зол для общества.

Я должен упомянуть еще об одном, что поразило меня даже сильнее, чем деморализующее влияние тюрем на заключенных. Каким гнездом заразы является каждая тюрьма и даже каждый суд для соседей, для всех живущих вблизи! Ломброзо нашумел очень много своим «преступным типом», открытым будто бы им среди осторожного населения. Если бы он с таким же вниманием наблюдал публику, тяготеющую к суду: сыщиков, шпионов, уличных адвокатов, доносчиков и обманщиков всякого рода, Ломброзо, наверное, пришел бы к заключению, что географическая сфера распространения «преступного типа» не ограничивается только тюремными стенами. Никогда я не видел такой богатой коллекции лиц самого низшего людского типа, как в лионском суде, где эти существа шныряли десятками. Ничего подобного я, конечно, не встречал в стенах Клэрво. Диккенс и Круикшэнк обессмертили некоторые из этих типов, составляющих совсем особый мир, который вращается вокруг судов и распространяет заразу далеко вокруг. То же самое относится ко всякой центральной тюрьме вроде Клэрво. Вокруг тюрьмы, как масляное пятно, распространяется целая атмосфера мелкого воровства и мошенничества, шпионства и порочности всякого рода.

Все это я видел. И если до моего осуждения я знал уже, что современная система наказания дурна, то, оставляя Клэрво, я понял также, что система эта не только дурна и несправедлива, но что чистое безумие со стороны общества поддерживать на свой счет – по неведению или по притворному незнанию действительности – эти «университеты преступности» и эти гнезда развращения; все это под предлогом, что остроги необходимы для обуздания преступных инстинктов нескольких людей.

XIV. Мои столкновения с тайной полицией. Забавное донесение тайного агента. Разоблаченные шпионы. Мнимый барон. Последствия шпионства

Каждый революционер встречает на своем пути известное число шпионов и агентов-provokаторов. Я тоже сподобился этого добра. Все правительства тратят значительные деньги на содержание этих гадин, но, в сущности, они опасны только для зеленой молодежи. Кто знает немного жизнь и людей, быстро научается узнавать этот сорт людей: что-то такое есть в этих людях, что заставляет сразу быть настороже. Вербуются они из подонков общества – из людей, нравственный уровень которых очень низок. И если кто присматривается к нравственному облику тех, с которыми встречается, то скоро замечает в манерах этих «столпов общества» нечто такое, что поражает его и заставляет задать себе вопрос: «Что привело этих людей ко мне? Что общего могут они иметь со мной?» В большинстве случаев этот простой вопрос достаточен, чтобы насторожиться.

Когда я в первый раз приехал в Женеву, агент русского правительства, который должен был следить за эмигрантами, был всем нам хорошо известен. Он назывался «графом X.», но так как у него не было ни лакея, ни кареты, на которой он мог бы поместить свой герб, то он вышел его на попонке своей собачки. Мы встречали его иногда в кафе, но не заговаривали с ним. В сущности он был «безобидный», так как попросту покупал в киосках издания эмигрантов и, по всей вероятности, сдабривал их своими примечаниями в донесениях по начальству.

Совсем другой народ начал появляться в Женеве, когда туда стало приезжать новое поколение эмиграции. И, однако, тем или иным путем мы всегда узнавали и новых шпионов.

Когда на нашем горизонте появлялся неизвестный, ему с обычной нигилистичьей прямоотой задавались вопросы о его прошлом и что он думает делать. Таким образом быстро выяснялось, что за человек был перед нами. Откровенность во взаимных отношениях – лучшее средство для установления хороших отношений между людьми, в подобном же случае она неопенима. Люди, которых никто из нас не знал и о которых даже никто не слышал в России, совершенно неизвестные в наших кружках, приезжали в Женеву и многие из них через несколько дней, а не то и часов совсем сближались с колонией. Но шпионам по

той или другой причине никогда не удавалось вкратце к нам в дружбу. Шпион может назвать общих знакомых, он может дать самый лучший отчет, подчас даже верный, о своем прошлом в России, он может в совершенстве усвоить нигилистичьи манеры и жаргон, но он никогда не может освоить нигилистичьей этики, создавшейся среди русской молодежи. И это одно держало его вдали от нашей колонии. Шпионы могут притворяться во всем, но только не в этих правилах нравственности.

Когда я работал вместе с Реклю в Кларане жил подобный индивидуум, от которого мы все держались в стороне. Мы не знали ничего худого за ним, но чувствовали, что он «не наш». И чем больше он пытался проникнуть к нам, тем больше вызывал он подозрений. Я никогда не говорил с ним ни слова, и поэтому он особенно добивался моего знакомства. Видя, что обычным путем ему не втереться ко мне, он начал писать мне письма и назначать таинственные свидания для таинственных целей: в лесу или тому подобных местах. Шутки ради, я раз принял приглашение и пошел на назначенное место причем хороший мой приятель следовал издали. Но сей господин, который вероятно имел соумышленника, должно быть, узнал, что я не один и не явился. Таким образом, я избавился от удовольствия, когда бы то ни было разговаривать с ним. К тому же я тогда работал так усиленно, что каждая минута моего времени была занята или географией, или «Revolte»: для конспирации у меня не было времени. Однако мы узнали потом, что этот человек посылал в Третье отделение подробные отчеты о мнимых разговорах, которые он будто бы вел со мною о моем доверии к нему и о страшных заговорах в Петербурге против царя, которыми я руковожу. Все это принималось в Петербурге за чистую монету. И не в одном Петербурге: в Италии также верили всякому вздору присылавшемуся шпионами. Так, когда Кафиеро раз арестовали в Швейцарии, ему показали страшные отчеты итальянских шпионов, которые доносили своему правительству, что мы с Кафиеро вооруженные бомбами готовимся перейти границу. В действительности я тогда еще не был в Италии и вовсе не собирался туда.

Нужно сказать, что шпионы не всегда составляют свои донесения из одних вымыслов. Часто они сообщают верные факты, но все зависит от того, каким образом рассказать происшествие. Мы немало смеялись по поводу одного отчета, посланного французскому правительству шпионом, следовавшим за нами в 1881 году на пути из Парижа в Лондон. Шпион, как это часто бывает, вел двойную игру и продал свой отчет Рошфору, который и напечатал его в своей газете. Все, что шпион доносил, было верно; но нужно было видеть, как это сообщалось! Соглядатай писал, например: «Я занял соседнее отделение с тем, в котором сидели Кропоткин с женой». Совершенно верно: он сидел там. Мы его заметили сразу, потому что его злобное неприятное лицо привлекло наше внимание. «Они говорили все время по-русски, чтобы остальные пассажиры не могли их понять». Опять-таки совершенно верно: мы говорили по-русски, как всегда. «Когда они прибыли в Калэ, оба потребовали себе по бульону». Святая истина: мы спросили бульон. Но здесь начинается таинственная сторона путешествия. «После этого они оба внезапно исчезли. Я напрасно искал их на платформе и в других местах; когда же они опять появились, он был переодет, и с ним находился русский священник, который не оставлял его до самого Лондона, где я потерял его из виду». Опять-таки все это было совершенно верно. У моей жены слегка разболелся зуб, и я попросил у содержателя буфета позволения зайти в его комнату, где я мог бы прижечь зуб. Таким образом объясняется «исчезновение». А так как нам предстоял

переезд через канал, я сунул мягкую полярковую шляпу в карман и надел меховую шапку: я «переоделся». Что же касается таинственного священника, то и он действительно существовал. Он был нерусский, но это все равно, одет он был, во всяком случае, как греческий священник. Я увидел, как он стоял у буфета и просил чего-то, чего никто не понимал.

– Aqua! Aqua! – повторял он жалобно.

– Дайте этому господину стакан воды, – сказал я служителю. Священник, пораженный моими изумительными лингвистическими способностями, стал благодарить меня за услугу с чисто восточным пылом. Жена моя сжалась над ним и попробовала заговорить с ним на различных языках, но он не понимал ни одного, кроме новогреческого. Оказалось, наконец, что он знает несколько слов на одном из южнославянских языков, и мы поняли следующее: «Я – грек; турецкое посольство, Лондон». Мы объяснили ему, больше знаками, что мы тоже едем в Лондон и что он может присоединиться к нам.

Забавнее всего то, что я действительно узнал для него адрес турецкого посольства раньше даже, чем мы прибыли на Чаринг-Кросский вокзал в Лондоне. Поезд остановился на какой-то станции, и в набитый уже вагон третьего класса вошли две изящно одетые дамы. Обе держали в руках газеты. Одна дама была англичанка, другая – красивая женщина, хорошо говорившая по-французски, выдавала себя за англичанку. Едва мы успели обменяться с нею несколькими словами, как она выпалила мне в упор:

– Что вы думаете о графе Игнатъеве? – и непосредственно за этим. – Скоро ли вы убьете нового царя?

Ее профессия выяснилась для меня по этим двум вопросам; но, вспомнив о моем священнике, я спросил ее:

– Не знаете ли вы случайно адрес турецкого посольства в Лондоне?

– На такой-то улице, такой-то номер дома, – ответила дама без запинки, как школьница.

– Вы, верно, знаете также, где русское посольство? – продолжал я.

И этот адрес был сообщен мне с той же готовностью. Когда мы приехали на Чаринг-Кросский вокзал, дама навязчиво засуетилась около моего багажа. Она вызывалась даже нести в своих затянутых перчатками руках тяжелый чемодан, так что наконец, к великому ее изумлению, я оборвал ее:

– Довольно, дамы не носят багажа мужчинам. Уходите!

Но возвращусь к моему правдолюбивому французскому шпиону. «Кропоткин вышел на Чаринг-Кросском вокзале, – рапортовал он, – не уезжал со станции около получаса после прибытия поезда, до тех пор, пока убедился, что все разъехались. Я все это время сторожил, спрятавшись за колонной. Убедившись, что все пассажиры разошлись с платформы, он с женой вскочил в кэб. Я тем не менее последовал за ним и слышал адрес,

сообщенный извозчиком полисмену у ворот: «№ 12, улица такая-то». Я побежал за каретой. Вблизи не было извозчиков, так что я должен был бежать до Трафальгар-сквера, где нашел кэб. Тогда я погнался за ними. Они остановились у упомянутого дома».

Все эти факты, адрес и все прочее опять-таки верны. Но какой таинственный вид все это имеет! Я предупредил о моем приезде приятеля, русского, который, однако, проспал, так как в то утро стоял густой туман. Мы прождали его с полчаса, а затем, оставив вещи на вокзале, поехали к нему на квартиру.

«Они сидели до двух часов дня со спущенными шторами, – продолжал сыщик в своем рапорте, – и только тогда из дома вышел высокий человек, возвратившийся час спустя с их багажом». Даже и это замечание о спущенных шторах верно. По случаю тумана пришлось зажечь газ, и мы спустили шторы, чтобы избавиться от скверного вида маленькой улицы в Ислингтоне, закутанной в желтый туман.

Когда я работал вместе с Элизэ Реклю в Кларане, то два раза в месяц уезжал в Женеву, чтобы выпускать «Revolte». Раз, когда я пришел в типографию, мне сказали, что какой-то русский желает меня видеть. Он уже побывал у моих друзей и объявил им, что приехал предложить мне издание новой русской газеты по типу «Revolte»; он вызывался дать для этого все необходимые деньги. Меня уговаривали повидаться с приезжим, и я пошел на свидание с ним в кафе. Он назвался мне немецким именем – скажем, Тонлэм – и выдавал себя за уроженца Балтийского края. Он хвастался большим состоянием, несколькими именами и фабриками и негодовал на правительство за русификацию остзейских губерний. В общем он производил несколько неопределенное впечатление – не хорошее, но и не плохое, – так что друзья настаивали на том, чтобы я принял его предложение. Но мне он не особенно понравился с первого взгляда.

Из кафе он повел меня в гостиницу, в свой номер. Здесь он стал менее сдержан, стал больше самим собой, а потом произвел совсем невыгодное впечатление. «Вы не сомневайтесь в моем состоянии, – говорил он мне. – Я сделал замечательное открытие, которое даст мне кучу денег. Я возьму патент на него и все деньги отдам на русскую революцию». Тут, к великому моему изумлению, он показал мне жалкий подсвечник, оригинальность которого заключалась в невероятном безобразии и в трех кусочках проволоки, чтобы вставлять свечу. Беднейшая хозяйка не польстилась бы на подобный подсвечник, и если бы паче чаяния патент и был взят, ни один фабрикант не дал бы за него больше четвертной. «Богатый человек – и возлагает надежды на подобный подсвечник, – подумал я, – да он, наверное, никогда не видал лучших». И мое мнение о нем определилось. Он не мог быть богачом, и деньги, которые он предлагал, – не его. Поэтому я напрямик заявил ему:

– Хорошо, если вам так желательно иметь русскую революционную газету и если вы такого лестного мнения обо мне, как вы говорите, то внесите деньги на мое имя в какой-нибудь банк в полное мое распоряжение. Но предупреждаю вас, что вы не будете иметь никакого касательства к газете.

– О, конечно, конечно! – отвечал он. – Я ограничусь тем, что порой только буду в редакции, иногда подам совет и помогу вам перевозить газету в Россию.

– Нет, ничего этого не будет. Вы совсем не должны меня видеть.

Друзья мои полагали, что я слишком сурово обошелся с человеком; но некоторое время спустя мы получили письмо из Петербурга, в котором нас предупреждали, что у нас будет шпион из Третьего отделения, по имени Тонлэм. Подсвечник, таким образом, оказал нам хорошую услугу.

На подсвечнике или на чем-нибудь другом, но эта братия всегда выдает себя, так или иначе. В Лондоне, в туманное утро, в 1881 году нас навестили два русских. Одного из них я знал по имени, другой – молодой человек, которого первый рекомендовал как своего приятеля, – был мне совершенно незнаком. Он вызвался сопровождать своего приятеля во время кратковременного пребывания в Лондоне. Так как его рекомендовал знакомый, то у меня не было никаких подозрений относительно него. Но в тот день я был очень занят и попросил другого знакомого, жившего поблизости, найти для них комнату и показать им Лондон. Моя жена, которая тоже еще не видала Англию, отправилась вместе с ними. Вернувшись вечером, она заметила мне:

– Знаешь, этот человек мне очень не нравится. Остерегайся его.

– Но почему? В чем дело? – спрашивал я.

– Ничего, решительно ничего; но только он наверно «не наш». По его обращению с прислугой в кафе и по тому, как он платит деньги, я сразу поняла, что он «не наш». – А если так, то зачем ему было являться к нам?

Жена была так уверена в своих подозрениях, что, исполняя долг гостеприимства, она в то же время ни на минуту не оставляла молодого человека одного в моей комнате. Мы завели разговор, и тут гость стал все больше и больше проявлять низость своего характера, так что даже его знакомый краснел за него. Когда же я задал ему более подробные вопросы о его прошлом, ответы получились еще менее удовлетворительные. Мы насторожились. Короче, дня через два оба оставили Лондон, а через две недели я получил от моего приятеля отчаянное письмо, в котором он извинялся, что представил мне молодого человека, состоявшего, как оказалось, в Париже шпионом при русском посольстве. Я справился со списком тайных агентов во Франции и в Швейцарии, который мы, эмигранты, получили недавно от Исполнительного комитета (у него были свои люди всюду в Петербурге). И в этом списке я нашел имя молодого человека. Была изменена только одна буква.

Основать оплачиваемую полицией газету с полицейским агентом во главе старая штука; к ней и прибег парижский префект полиции в 1881 году. Я жил с Элизэ Реклю в горах, когда мы получили письмо от одного француза или, точнее, бельгийца, сообщавшего нам, что он собирается основать анархическую газету в Париже и просит нашего сотрудничества. Письмо, наполненное лестью, произвело на нас неблагоприятное впечатление. К тому же Реклю смутно припоминал, что слышал имя автора письма в связи с какой-то неприглядной историей. Мы решили отказаться от сотрудничества, и я написал приятелю в Париж, что мы

должны сперва узнать, откуда идут деньги, на которые газета будет основана. Быть может, деньги дают орлеанисты: штука не новая, не раз практиковавшаяся этой семьей; мы должны знать источники. Мой приятель в Париже с откровенностью, свойственной рабочим, прочитал мое письмо на собрании, на котором присутствовал и будущий издатель газеты. Тот сделал вид, что крайне оскорблен, и мне пришлось ответить на несколько писем по этому поводу; но я твердо стоял на своем: «Если лицо, о котором идет речь, серьезно относится к делу, оно поймет, что должно объяснить нам, откуда явились деньги. Если нет, то это не революционер и никакого дела мы с ним иметь не можем».

В конце концов этот господин ответил на настойчивые вопросы, что деньги дает его тетка, богатая дама, придерживающаяся старых взглядов, но уступившая наконец настойчивому желанию племянника иметь свою собственную газету. Дама живет не во Франции, а в Лондоне. Мы потребовали тогда, чтобы нам дали ее имя и адрес, и наш друг Малатеста вызвался повидаться с ней. Он отправился с другим приятелем – итальянцем, торговавшим подержанной мебелью. Дама занимала небольшую квартиру. Покуда Малатеста беседовал с «теткой» и все больше и больше приходил к заключению, что она играет только роль в комедии, приятель его, перекупщик, осматривал столы и стулья и нашел, что вся мебель взята напрокат – вероятно, не дальше как накануне – у его соседа, тоже перекупщика. Ярлыки торговца виднелись еще на столах и стульях. Конечно, это еще ничего не доказывало, но наши подозрения усилились. Я наотрез отказался иметь что-нибудь общее с изданием.

Газета была кровожадная до крайности. Поджоги, убийства и динамитные бомбы проповедовались в каждом номере. Я встретил издателя этой газеты несколько месяцев спустя на Лондонском конгрессе, в июле 1881 года, и, как только я увидел его отекавшее лицо, услышал его разговор и присмотрелся к женщинам, в обществе которых он постоянно обретался, мое мнение о нем определилось. На конгрессе, на котором он предлагал всякого рода страшные резолюции, все держались от него в стороне. А когда он захотел узнать адреса анархистов во всех странах, ему отказали далеко не в вежливой форме. Короче сказать, его разоблачили месяца два спустя, и газета на следующий день после этого прекратилась. Года два спустя префект парижской полиции Андрие издал свои записки. В них он говорил о газете, основанной им, и называл издателя этой кровожадной газеты, того самого господина Серро, который возбудил наши подозрения. Андрие рассказал также и о взрыве, который устроили его агенты в Париже, подложив «начиненные чем-то» коробки от сардинок под памятник Тьера.

Можно себе представить, какую кучу денег стоило все это Франции и другим нациям!

Я мог бы написать несколько глав на тему о шпионах, но ограничусь только одним еще рассказом о двух авантюристах в Клэрво.

Жена моя жила тогда в единственной маленькой гостинице, в деревне, выросшей под сенью тюремных стен. Раз хозяйка вошла к ней в комнату с посланием от двух господ, которые только что прибыли в гостиницу и желали видеть мою жену. Хозяйка пустила в ход все свое красноречие в их пользу:

– О! Я знаю людей, – говорила она, – и могу вас уверить, мадам, что это настоящие господа, самые что ни на есть отменные! Один из них называет себя германским офицером, но он, наверное, либо барон, либо милорд, а другой его переводчик. Они вас знают очень хорошо. Барон отправляется в Африку, быть может, навсегда – и желает вас видеть перед своим отъездом.

Жена моя взглянула на адрес письма, на котором значилось так: «A madame la princesse Kropotkine. Quand a voir?»[40] Ей не нужны были уже другие доказательства, чтобы убедиться, кто такие эти «что ни на есть отменные господа». Что касается содержания письма, то оно было еще хуже, чем адрес. Наперекор всем правилам грамматики и здравому смыслу «барон» писал о каком-то таинственном сообщении, которое желал ей передать. Жена решительно отказалась принять автора письма и его переводчика. Тогда «барон» стал бомбардировать ее письмами, которые она возвращала невскрытыми. Вскоре вся деревня разделилась на две партии: одна, во главе с хозяйкой, стояла за «барона», другая, с хозяином во главе, – против него. В деревне циркулировала уже романтическая история: «барон» знал мою жену раньше, чем она вышла за меня. Он танцевал с ней много раз в русском посольстве в Вене. Он все еще влюблен в нее, а она, жестокая, не позволяет ему даже взглянуть на себя перед отправлением в опасную экспедицию!

Затем пошла в ход таинственная история про мальчика, которого мы, рассказывали, скрываем. «Где их мальчик?» – «барон» желал это знать. «У них сын, которому теперь шесть лет. Где он?» «Она никогда не рассталась бы с сыном, если бы у них был ребенок», – говорила одна партия. «Да, рассказывайте! У них есть мальчик, но они его прячут», – заявляла другая сторона.

Для нас двух этот спор был интересным откровением. Он доказал нам, что не только тюремное начальство читает мои письма, но что их содержание становится известным и русскому посольству. Когда я был в Лионе, а жена поехала в Швейцарию, чтобы повидаться с Элизэ Реклю, она писала мне раз: «Наш мальчишка процветает; здоровье его отлично. Вчера ему минуло пять лет, и мы провели весело вечер, празднуя его рождение». Я знал, что жена говорит о «Revolte», так как мы часто называли его *notre gamin* – нашим мальчишкой.

Теперь, когда эти господа осведомлялись о «нашем мальчишке» и точно указывали даже его возраст, было очевидно, что письмо побывало в руках не у одного тюремного зрителя. Это следовало принять к сведению.

Ничто не ускользает от внимания деревенских жителей, и «барон» скоро вызвал некоторые подозрения. Он написал жене новое письмо, еще более красноречивое, чем прежние. Теперь он просил прощения за то, что, добиваясь свидания с ней, выдавал себя за ее знакомого. Он признавался, что она его не знает, но тем не менее он доброжелателен и должен сделать важное сообщение. Жизнь моя подвергается большой опасности, о чем он и желает предостеречь. «Барон» и секретарь его пошли в поле, чтобы вместе прочесть письмо и посоветоваться насчет его содержания. Лесной сторож следовал за ними издали. Они не сошлись во взглядах на письмо, разорвали его и бросили в поле. Тогда сторож обождал, покуда они скрылись из виду, подобрал лоскутки и прочел письмо. Через час вся деревня знала уже, что «барон» никогда не был знаком с моей женой; романтическая история,

которую с таким чувством передавала партия «барона», рассеялась как дым.

– Ага! В таком случае они не то, за что себя выдают, – заключил в свою очередь местный жандарм, – значит, они – немецкие шпионы. – И арестовал их.

Нужно сказать в защиту жандарма, что незадолго до того в Клэрво действительно побывал немецкий шпион. Во время войны громадное тюремное здание может служить провиантским депо или казармами для войска; поэтому германский генеральный штаб, конечно, желал знать внутреннее расположение здания и его военное значение. И вот раз в нашу деревню прибыл веселый странствующий фотограф; он завел дружбу со всеми, снимая всех даром, и ему разрешили снять не только тюремный двор, но даже камеры. Сделав все это, он отправился в другой город, тоже на восточной границе, и здесь его арестовали французские власти и нашли на нем компрометирующие военные документы. Бригадье, в котором свежо еще было воспоминание о развязном фотографe, пришел к заключению, что «барон» и его секретарь тоже немецкие шпионы, и доставил их в тюрьму, в маленький городок Бар-сюр-Об. Там их освободили на другой же день, и местная газета заявила, что задержанные «не германские шпионы, а лица, посланные другой, более дружественной державой».

Теперь общественное мнение всецело восстало против «барона» и его секретаря. Их приключения не кончились. После освобождения они зашли в маленькое деревенское кафе и за бутылкой вина стали по-немецки отводить душу в дружеском разговоре. «Ты дурак и трус, – говорил мнимый секретарь мнимому барону. – Будь я на твоём месте, я угостил бы вот из этого револьвера следственного судью. Пусть он только попробует проделать то же со мной: я ему всажу пулю в лоб», – и так далее.

Тем временем странствующий приказчик, спокойно сидевший в углу, немедленно побежал к бригадье и передал ему подслушанный разговор. Бригадье составил тут же протокол и снова арестовал «секретаря», оказавшегося аптекарем из Страсбурга. Его доставили в полицейский суд, в тот же Бар-сюр-Об, и присудили к месячному тюремному заключению «за угрозы судье в общественном месте». После этого у «барона» были еще другие приключения, и деревня приняла свой обычный спокойный вид только после отъезда обоих незнакомцев.

Эта шпионская история имела комический финал. Но сколько трагедий, ужасных трагедий – создают эти негодяи! Сколько драгоценных жизней потеряно, сколько семейств, счастье которых разрушено, – и все для того, чтобы подобные мерзавцы могли жить в довольстве. Когда подумаешь о тысячах разъезжающих всюду шпионов, находящихся на содержании у всех правительств; о западнях, расставляемых ими неосторожным людям; о человеческих жизнях, кончающихся трагически благодаря им; когда вспомнишь о страданиях, рассеиваемых этими негодьями всюду на своем пути; о значительных суммах, издерживаемых на содержание этой гнусной армии, вербуемой среди отбросов общества; о пороках, прививаемых ими обществу вообще и в частности отдельным семьям; когда подумаешь обо всем этом, – нельзя не содрогнуться перед тем непомерным злом, которое идет от них. И эта армия состоит не только из господ, являющихся шпионами, политическими или военными. В Англии есть газеты, в особенности в курортах, столбцы

которых наполнены объявлениями «сыскных агентов», берущихся собирать весь необходимый материал для разводов, выслеживающих мужей по поручению жен и жен по поручению мужей, проникающих в семьи, улавливающих глупцов и делающих все что угодно, лишь бы им платили. Люди скандализируются теми мерзостями системы шпионства, которые недавно раскрылись во Франции в высших военных сферах; но они не замечают, что и среди них, быть может в их же доме, тайные агенты, официальные и частные, делают то же самое, если еще не хуже.

XV. «Грабеж» Луизы Мишель.

Освобождение из тюрьмы. Париж. Эли Реклю. Переезд в Англию. Жизнь в Харро. Научные труды моего брата Александра. Смерть брата

Требования о нашем освобождении поднимались беспрестанно как в печати, так и в палате депутатов. Тем более что одновременно с нами осудили Луизу Мишель... за грабеж! Луизу Мишель, которая буквально отдает последнюю свою шаль или накидку нуждающейся женщине, а во время тюремного заключения никогда не хотела иметь лучшую пищу, чем другие заключенные, и всегда отдавала другим то, что ей присылали, – и вдруг ее присудили к девятигодичному заключению за открытый грабеж! Это казалось несообразным даже для оппортунистов-буржуа. Действительно, Луиза Мишель стала раз во главе процессии безработных и, войдя в булочную, взяла несколько хлебов и поделила их между голодными: в этом заключался ее грабеж.

Освобождение анархистов превратилось, таким образом, в боевой клич против правительства, и осенью 1885 года всех моих товарищей, за исключением троих, освободили декретом президента Гриви. Тогда еще громче стали требовать, чтобы освободили Луизу Мишель и меня. Однако против моего освобождения был Александр III. Раз премьер-министр Фрейсинэ, отвечая на запрос в палате, решился даже сказать, что «дипломатические осложнения препятствуют освобождению Кропоткина». Странные слова в устах первого министра независимой страны! Но еще более странные слова говорились впоследствии, после заключения этого злосчастного союза между республиканской Францией и царской Россией. Наконец в середине января 1886 года освободили Луизу Мишель, меня и трех товарищей, остававшихся со мной в Клэрво.

Мое освобождение означало также освобождение моей жены от ее добровольного заключения в деревушке у тюремных ворот, которое начинало сказываться на ее здоровье. Мы отправились в Париж, чтобы провести несколько недель у нашего друга Эли Реклю, известного антрополога, которого за пределами Франции часто смешивают с его младшим

братом, географом Элизэ. Тесная дружба с раннего детства связывала обоих братьев. Когда пришло для них время поступать в университет, они пошли вместе в Страсбург пешком из деревни, лежащей в долине Жиронды. Как настоящих странствующих студентов, их сопровождала собака; и когда они останавливались в деревнях, то чашку супа получал четвероногий товарищ, тогда как ужин братьев зачастую состоял из хлеба и нескольких яблок. Из Страсбурга молодые братья пошли в Берлин, куда их привлекли лекции великого Риттера. Впоследствии, в сороковых годах, они оба были в Париже. Эли Реклю стал убежденным фурьеристом; оба видели в движении 1848 года наступление новой эры. Вследствие этого после государственного переворота Наполеона III они вынуждены были оставить Францию и эмигрировали в Англию.

После амнистии братья Реклю возвратились в Париж, где Эли издавал фурьеристскую кооперативную газету, которая пользовалась широким распространением среди рабочих. Замечу кстати, что Наполеон III, игравший, как известно, роль Цезаря и, как подобает Цезарю, интересовавшийся положением рабочих классов, отправлял одного из своих адъютантов в типографию газеты каждый раз, когда она должна была выйти, чтобы привезти в Тюильри первый экземпляр прямо из-под станка. Впоследствии Наполеон III готов был даже покровительствовать Интернациональной рабочей ассоциации, под условием, что она выразит в одном из своих бюллетеней, в нескольких словах, доверие к великим социальным реформам Цезаря. Но Интернационал наотрез отказался, и Наполеон приказал начать против него судебное преследование.

Когда провозглашена была Коммуна, оба брата всем сердцем присоединились к ней. Эли принял пост хранителя Национальной библиотеки и Луврского музея, под управлением Вальяна. В значительной степени благодаря его предусмотрительности и неусыпным трудам уцелели во время бомбардирования Парижа и последовавших затем пожаров несметные сокровища человеческого знания и искусства, собранные в этих двух учреждениях. Страстный поклонник античного искусства и глубокий знаток его, он упаковал все наиболее ценные статуи и вазы Лувра и спрятал их в подвалах здания. Он принял величайшие предосторожности, чтобы укрыть в безопасном месте наиболее драгоценные книги Национальной библиотеки и спасти здание от пожаров, свирепствовавших кругом. Жена его, мужественная женщина, достойная подруга философа, сопровождаемая на улице двумя своими маленькими мальчиками, устраивала тем временем в своем квартале столовые для народа, который во время второй осады доведен был до крайней степени нужды. В последние недели своего существования Коммуна поняла наконец, что главной ее заботой должно бы быть снабжение пищей народа, лишенного возможности зарабатывать себе хлеб, и добровольцы вызвались выполнить это. Только по чистой случайности Эли Реклю, занимавший свой пост до последнего момента, не был расстрелян версальцами. Его приговорили к каторге за то, что он дерзнул принять от Коммуны столь необходимый пост. Но он скрылся и перебрался с семьей в Швейцарию.

Теперь, возвратившись в Париж, он принялся за труд, составлявший цель его жизни – за этнографию. О достоинствах этого труда можно судить по немногим главам, изданным отдельно под названием «Les Primitifs»[41] и «Les Australiens»[42], а также по истории происхождения религий, которую он излагал в лекциях в Брюсселе, в Ecole des Hautes Etudes[43]. Во всей этнографической литературе немного найдется произведений, до такой

степени проникнутых симпатией к дикарям и пониманием их. Что касается до истории религии (часть была напечатана в журнале «Societe Nouvelle»[44], издававшемся впоследствии под названием «Humanite Nouvelle»[45]), то это, по моему мнению, лучший труд, появившийся по этому вопросу. Без сомнения, труд Реклю лучше попыток Спенсера в том же роде, потому что английский философ, несмотря на весь свой мощный ум, не обладал тою способностью понимания безыскусственной и простой природы первобытного человека, которая так развита в Эли Реклю. Ко всему этому Эли присоединяет еще глубокое знание мало разработанной ветви народной психологии – развития и преобразования верований. Нечего и говорить о замечательной доброте и скромности Эли Реклю или о его сильном уме и глубоком понимании всего, касающегося развития человечества. Все это видно в его стиле, не имеющем себе равного. По своей скромности, спокойствию движений и философской прозорливости он – типичный древнегреческий философ. В обществе, менее увлеченном методами патентованного образования и отрывочного знания и более ценящем развитие широких гуманитарных понятий, Эли Реклю был бы окружен, как бывали его древние предшественники, множеством учеников.

В то время как мы жили в Париже, там росло оживленное анархическое и социалистическое движение. Луиза Мишель читала лекции каждый вечер, и ее восторженно принимала публика, как рабочая, так и буржуазная. И без того широкая популярность Луизы еще больше увеличилась и распространилась даже среди студентов, которые, быть может, ненавидели ее крайние взгляды, но преклонялись перед ней как перед идеальной женщиной. Когда я был в Париже, произошла даже драка в кафе, потому что один из присутствующих отозвался непочтительно о Луизе Мишель в присутствии студентов. Молодые люди ополчились в ее защиту, пустились в драку и разгромили все столы и стулья.

Я также прочел одну лекцию об анархизме перед публикой в несколько тысяч человек и оставил немедленно Париж, прежде чем правительство успело послушаться реакционной и русофильской прессы, настаивавшей на моем изгнании из Франции.

Из Парижа мы отправились в Лондон, где я еще раз встретил моих старых друзей – Степняка и Чайковского. Социалистическое движение было теперь в полном разгаре, и жизнь в Лондоне больше не была для меня скучным, томительным прозябанием, как четыре года тому назад. Мы поселились в маленьком коттедже в Харро, под Лондоном. Меблировка нас мало заботила. Значительную часть ее мы смастерили с Чайковским. Он тем временем побывал в Соединенных Штатах, где научился немного плотничать. Мы с женой были также очень рады, что при доме оказался клочок земли. Хотя то была тяжелая мидльсекская глина, но мы с большим увлечением стали огородничать и получали великолепные результаты, которые следовало предвидеть – после знакомства с сочинением Тубо и некоторыми парижскими огородниками, а также и после наших собственных опытов в тюремном саду, в Клэрво. Что касается до моей жены, которая перенесла тиф, вскоре после того как мы поселились в Харро, то работа в саду в период выздоровления лучше помогла ей укрепиться в силах, чем помогло бы пребывание в самом лучшем санатории.

В конце лета нас сразил страшный удар. Мы узнали, что моего брата Александра нет больше в живых.

С тех пор как я был за границей, до моего заключения во Франции, мы никогда не переписывались. В глазах русского правительства любить брата, которого преследуют за политические убеждения, – уже тяжелый грех. Поддерживать же с ним сношения, когда он в изгнании, – преступление. Подданный царя обязан ненавидеть всех возмущившихся против верховной власти, а брат находился в руках русской полиции. Я упорно отказывался поэтому писать ему или кому-нибудь из моих родственников. После того как царь ответил на прошение сестры Елены: «Пусть посидит», – оставалось очень мало надежды на скорое освобождение брата. Впоследствии назначена была комиссия для определения срока административно-ссылным в Сибири, и брату назначили пять лет. С теми двумя годами, что он уже пробыл в ссылке, это составляло семь. При Лорис-Меликове назначена была другая комиссия, которая прибавила еще пять лет. Брат, таким образом, кончал срок в октябре 1886 года, отбывши двенадцать лет ссылки сперва в Минусинске, а потом в Томске. Здесь, в низменностях Западной Сибири, он не мог даже пользоваться здоровым климатом высоких степей.

Когда я сидел в Клэрво, брат написал мне, и мы обменялись несколькими письмами. Он написал, что так как наша переписка будет читаться жандармами в Сибири и тюремными властями во Франции, то мы можем наконец переписываться под этим двойным надзором. Он написал о семейной жизни, о своих троих детях, которых описывал очень хорошо, и о своей работе. Он очень советовал мне внимательно следить за развитием науки в Италии, где производятся превосходные, оригинальные исследования, которые остаются, однако, неизвестными ученому миру, пока их не использует кто-нибудь в Германии. Высказывал он также свое мнение о вероятном ходе политической жизни в России. Он не верил в возможность у нас в ближайшем будущем конституционного строя по образцу западноевропейских парламентов; но он ждал (и считал вполне достаточным для настоящего времени) созыва Земского собора. Собор не имел бы законодательной власти, но только подготовлял бы проекты законов, которым Государственный совет и царская власть давали бы окончательную форму и утверждение.

Больше всего он писал мне о своих научных работах. Брат всегда питал особенную склонность к астрономии, и, когда мы были в Петербурге, он напечатал по-русски отличный свод всего того, что известно было о падающих звездах. При помощи своего тонкого критического ума он легко различал сильные и слабые стороны различных гипотез, и без достаточного знания математики лишь при помощи живого воображения он схватывал результаты самых запутанных математических исследований. Живя воображением среди небесных тел, он часто постигал их сложные движения лучше некоторых математиков, особенно чистых алгебраистов, которые иногда теряют из виду действительность физического мира и видят только свои формулы и логические выводы из них. Наш петербургский астроном, старик Савич, говорил с большим уважением о работе брата. «Такие критические сводные работы нужны нам, наблюдателям и исследователям», – говорил он.

В Сибири брат принялся изучать строение звездного мира и взялся за разбор гипотез о мирах солнц, о звездных кучах и туманностях, разбросанных в бесконечном пространстве. Он старался угадать их вероятные взаимные отношения, их жизнь и законы их развития и исчезновения. Пулковский астроном Гильдэн очень заинтересовался этой новой работой

брата и письменно познакомил его с известным исследователем звездного мира американским астрономом Хольденом, которого лестное мнение о работах брата я недавно имел удовольствие слышать лично в Вашингтоне. Время от времени науке нужны именно подобные обобщения широкого размаха, произведенные добросовестным, трудолюбивым умом, одаренным и критическим духом, и воображением.

Но в небольшом сибирском городе, вдали от библиотек, лишенный возможности следить за прогрессом науки, брат успел разобрать только те изыскания, которые были сделаны до его ссылки.

С тех пор появилось по тому же вопросу несколько капитальных сочинений. Александр знал о них; но как доставать необходимые книги, пока он оставался в Сибири? Окончание срока ссылки не внушало ему радужных надежд. Он знал, что ему не позволят жить в университетских городах и не пустят также за границу: за сибирской ссылкой последует другая, быть может, еще худшая, в какой-нибудь захолустный городок Восточной России.

Отчаяние овладевало им. «Порою на меня нападает фаустовская тоска», – писал он мне. Когда срок ссылки подходил к концу, он отправил жену и детей в Россию с последним пароходом перед закрытием навигации. И в одну темную ночь фаустовская тоска положила конец его жизни...

Туча мрачного горя висела над нашим домиком несколько месяцев, до тех пор, покуда луч света не прорезал ее. В следующую весну на свет явилось маленькое существо, носящее имя брата. И беспомощный крик ребенка затронул в моем сердце новую, неведомую до тех пор струну.

XVI. Социалистическое движение в Англии в 1886 году. Его характер

В 1886 году социалистическое движение в Англии было в полном ходу. Многочисленные группы рабочих открыто присоединялись к нему в главных городах. Представители средних классов, в особенности молодежь, всячески ему помогали. В том году многие отрасли промышленности переживали сильный кризис. Каждое утро, а иногда и весь день я слышал, как на улицах партии безработных распевали заунывную песнь «Мы безработные» или какой-нибудь гимн и молили о хлебе. Много народа проводило ночи на Трафальгар-сквере в дождь и ветер, прикрывшись газетным листом. И раз, в феврале, толпа, выслушав речи Бернса, Гайндмана и Чэмпiona, бросилась на Пикадилли, одну из самых богатых улиц Лондона, разбила несколько стекол в громадных магазинах и заставляла проезжих выходить из экипажей. Гораздо большее значение, чем этот взрыв неудовольствия, имел, впрочем, тот дух, который господствовал среди беднейшей части рабочего населения на окраинах Лондона. Он был так враждебен к имущим, что если бы вожакам движения, привлеченным к ответственности за этот «мятеж», суд вынес суровые приговоры, то пробудился бы дотоле неизвестный в последних рабочих движениях Англии дух ненависти и мести – симптомы его были ясно видимы в 1886 году – и он наложил бы тогда свой

отпечаток на долгое время на все последующие движения. Но средние классы поняли опасность. Немедленно в Вэст-Энде (западной, богатой части Лондона) собраны были громадные суммы для облегчения нищеты в бедной части Ист-Энда. Конечно, этих денег совершенно не хватало, чтобы облегчить широко распространенную нищету, но их было достаточно, чтобы проявить хорошие намерения. Что касается до арестованных агитаторов, то на основании тех же соображений их приговорили только к двух- и трехмесячному тюремному заключению.

Во всех слоях общества заинтересовались тогда социализмом и различными проектами реформ и преобразования общества. Осенью и затем зимою ко мне постоянно обращались с предложением читать лекции. Таким образом, я объехал почти все большие города Англии и Шотландии, читая лекции отчасти о тюрьмах, но больше всего об анархическом социализме. Так как я обыкновенно принимал первое сделанное мне предложение гостеприимства после окончания лекции, то мне приходилось иногда ночевать в богатом дворце, а на другой день – в бедном жилище рабочего. Каждый вечер я виделся после лекции со множеством народа, принадлежавшего к самым различным классам. И в скромной ли комнате рабочего или в гостиной богача завязывалась одинаково оживленная беседа о социализме и анархизме, продолжавшаяся до глубокой ночи, пробуждая надежды в коттеджах и опасения в богатых домах. Всюду она велась с одинаковой серьезностью.

У богачей главный вопрос был: «Чего желают социалисты? Что они намереваются делать?» Затем следовало: «Какие уступки абсолютно необходимо будет сделать в известный момент для избежания серьезного столкновения?» Во время этих разговоров мне редко приходилось слышать, чтобы требования социалистов назывались несправедливыми или вздорными, но я находил также повсеместно твердую уверенность в том, что революция в Англии невозможна, ибо стране придется гибнуть от голода, и что требования большинства рабочих еще не достигли ни того размера, ни той точности, которые высказываются в требованиях социалистов. «Рабочие, – говорили мне, – удовлетворятся гораздо меньшим; второстепенные уступки, обеспечивающие им легкое увеличение благосостояния и немного больший досуг, они примут как временный залог лучшего будущего». «Англия – страна левого центра, мы всегда живем компромиссами», – заметил мне раз один старый член парламента – Джозеф Коуэн, который из долгого опыта хорошо знал свою страну.

В жилищах рабочих ко мне также обращались с другими вопросами, чем во Франции и Швейцарии. Рабочих латинской расы глубоко интересуют общие принципы; частные же изменения определяются самими этими принципами. Если какой-нибудь городской совет отпускает во Франции деньги на поддержание стачки или устраивает бесплатные столовые для детей в школах, то этим фактам не придают важного значения. Их считают вполне естественными. «Это само собой разумеется: голодный ребенок не может учиться, – скажет рабочий, – нужно же накормить». А если какая-нибудь городская дума ассигнует денег на стачку, французский рабочий спокойно заметит: «Хозяин, конечно, был неправ, коли довел рабочих до этой стачки: их следовало поддержать». Этим и ограничатся все разговоры. Вообще рабочие не придают никакого значения ничтожным уступкам в пользу коммунизма, делаемым в нынешнем индивидуалистическом обществе. Мысль рабочего забегает вперед. Он спрашивает себя: «Если переходить к социалистическому строю, то кто должен будет предпринять организацию производства? Община, союзы рабочих, городская дума или

государство? Достаточно ли одного вольного соглашения для поддержания общественного строя? Какой нравственный двигатель заменит существующее ныне в обществе принудительное начало? Может ли выборное демократическое правительство выполнить необходимые глубокие изменения в социалистическом направлении, и не должен ли будет совершившийся факт – захват собственности – предшествовать законодательным реформам?» Вот на какие вопросы мне приходилось отвечать во Франции.

В Англии, наоборот, больше всего заботились о том, чтобы получить ряд уступок и паллиативов. Но с другой стороны, рабочие давно уже решили невозможность социализации производства государством, и больше всего их интересовала созидательная деятельность рабочего движения, а равно и средства, которые могли бы привести к осуществлению их желаний.

– Хорошо, Кропоткин, предположим, что завтра мы овладеем доками в нашем городе. Как думаете вы управлять ими? – в те годы задавали мне, например, вопрос, как только мы усаживались в комнате рабочего. Или же железнодорожные рабочие писали мне: «Нынешнее нахождение железных дорог в руках отдельных компаний не что иное, как организованный грабеж. И нам вовсе не улыбается также государственное заведование. Но предположим, что рабочие завладели железными дорогами. Как организовать тогда пользование ими?» Недостаток общих идей заменялся, таким образом, желанием глубже проникнуть в мелкие подробности и частности и разрешить затруднения, которые наверно возникнут в жизни.

Другую характерную черту движения в Англии было значительное число лиц из средних классов, поддерживающих его всяким образом. Одни из них открыто присоединялись к движению, другие косвенно помогали ему. Во Франции и в Швейцарии обе партии, рабочие и средние классы, стояли в боевом порядке друг против друга, резко разделенные на два лагеря. Так было по крайней мере в 1876–1885 годах. Когда я жил в Швейцарии, то знакомства мои были исключительно среди работников; вряд ли я имел двух или трех знакомых из средних классов. В Англии это было бы невозможно. Значительное число мужчин и женщин из буржуазии, не колеблясь, открыто являлись в Лондоне и в провинции нашими помощниками при устройстве социалистических митингов, при сборе в парках денег в пользу стачечников, секретарями в секциях, организаторами манифестаций. Кроме того, мы видели зачатки движения «в народ», подобного тому, которое совершалось в России в начале семидесятых годов, – хотя не такого глубокого, не проникнутого таким же самоотречением, иногда при этом не лишеного характера благотворительности, который совершенно отсутствовал у нас. В Англии тоже многие искали всякие способы сближения с рабочими, посещая для этого трущобы и устраивая народные университеты, «поселения» интеллигентов в трущобных кварталах, как Тойнби-Холл, и т. д.

Нужно сказать, что тогда действительно существовал значительный порыв энтузиазма. Многие из образованных классов думали, без сомнения, что социальная революция уже начинается, как это говорит герой комедии Вильяма Морриса «Tables Turned»[46], у которого вырывается фраза «Революция не только приближается, она уже началась». Случилось, однако, то, что всегда бывает с подобными энтузиастами, когда они увидели, что в Англии, как и всюду, нужна долгая, упорная предварительная работа, чтобы преодолеть все

препятствия, значительная часть их удалась от борьбы. Теперь они довольствуются ролью сочувствующих зрителей.

XVII. Мое участие в английском социалистическом движении.

Литературная работа. Формула «борьба за существование», дополненная естественным законом «взаимной помощи». Великое распространение социалистических идей

Я принял живое участие в этом движении, и с несколькими товарищами мы основали, в придачу к существовавшим уже трем социалистическим газетам, анархическое ежемесячное издание «Freedom», которое живет и до сих пор. В то же время я опять принялся за научную разработку анархизма, которая была прервана моим арестом. Критическая часть моей работы – критика современного общества – была издана Элизэ Реклю, когда я находился в Клэрво, под заглавием «Paroles d'un Revolte» («Речи мятежника»). Теперь я принялся разрабатывать созидательную часть анархически-коммунистического общества насколько его можно предвидеть – и изложил свои взгляды в ряде статей в нашей парижской газете «La Revolte» («Наш мальчишка» – «Le Revolte», которого преследовали за противовоенную пропаганду, должен был переменить заголовок и теперь стал «девочкой») Впоследствии эти статьи в переработанном виде вышли в Париже отдельной книгой под заглавием «La Conquete du Pain»[47].

Эти работы заставили меня изучить более внимательно некоторые стороны хозяйственной жизни современных народов. Читая лекции в разных городах Англии и Шотландии, я пользовался этими разъездами как для долгих бесед с рабочими, так и для осмотра всяких фабрик и заводов, угольных шахт и больших корабельных верфей, не забывая при этом мелких мастерских в таких больших центрах кустарного производства, как Шеффилд и Бирмангам.

Знакомясь таким образом с реальной жизнью, я постоянно имел в виду вопросы: какие формы должно принять производство на социалистических началах, то есть организованное самими трудящимися для наилучшего удовлетворения всех нужд населения. Большинство социалистов говорило до тех пор, что цивилизованное общество производит гораздо больше, чем требуется для обеспечения благосостояния всем, и что неправильно только распределение того, что производится. «Когда, – говорили они, – произойдет социальная

революция, каждому останется только вернуться в свою фабрику или мастерскую и взяться за прежнюю работу. Общество само завладевает прибавочной стоимостью, то есть прибылью, идущей теперь капиталисту». Я, напротив, убедился, что при современной системе частной собственности само производство, ведущееся ради прибыли, приняло ложное направление, и оно совершенно недостаточно даже для удовлетворения основных жизненных потребностей всего населения. При такой низкой производительности «благосостояние для всех» невозможно. Частная собственность и производство ради прибыли прямо-таки мешают настоящему удовлетворению потребностей населения, как они ни скромны в данное время у громадной массы народа.

Ни один продукт, замечал я, не производится в большем количестве, чем его требуется для удовлетворения всех потребностей. «Перепроизводство», о котором так часто говорят, означает только, что массы слишком бедны и не в состоянии покупать даже предметы первой необходимости, произведенные ими, и в которых они сильно нуждаются. А между тем во всех образованных странах производство, как промышленное, так и земледельческое, очень легко может и должно быть увеличено до такого уровня, чтобы обеспечить довольство для всех. Эти мысли повели меня к изучению того, чем может стать современное земледелие, а также как переустроить образование на новых началах, чтобы дать возможность каждому заняться приятной и производительной физической и умственной работой и усилить общую производительность. Я развил эти мысли в ряде статей, появившихся в «Nineteenth Century» и вышедших потом отдельной книгой под заглавием «Fields, Factories and Workshops»[48].

Изучение экономической жизни народов привело меня к заключению, что мы вовсе не так богаты, как это кажется. Самая богатая страна в мире – Англия. Но если сложить все, что получает она со своих полей, с рудников, со своих многочисленных фабрик и заводов и от мировой торговли, и поделить это поровну между ее жителями, то получается только полтора рубля в день на человека и ни в коем случае не больше двух. Уже из этого видно, что социальная революция, где бы она ни произошла, должна будет поставить с самых первых дней главной своей задачей увеличение производства. В первые годы освобождения неизбежно увеличится потребление пищи и всякого товара, так как до сих пор во всех странах Европы добрая треть населения всегда живет впроголодь и терпит недостаток в одежде и во всем прочем. Следовательно, все народы должны напрячь свои силы, чтобы мощно развить у себя и усовершенствовать, с одной стороны, земледелие, а с другой – усиленно развивать у себя обрабатывающую промышленность. В этом – залог прогресса и успеха в освобождении труда от ига капитала.

Вскоре после этого я занялся другим важным вопросом, который уже раньше привлек мое внимание. Известно, к каким выводам пришло большинство последователей Дарвина, даже таких умных, как Гексли, в толковании его закона «борьбы за существование». Нет такого насилия белых народов над черными или же сильных по отношению к слабым, которого не старались бы оправдывать этими словами – «борьба за существование».

Уже во время моего пребывания в Клэрво я чувствовал, что необходимо вполне пересмотреть само понятие «борьба за жизнь» в мире животных, а тем более его приложение к миру человеческому. Попытки, сделанные в этом направлении некоторыми

социалистами, положительно не удовлетворяли меня; и я думал об этом вопросе, когда нашел в речи русского зоолога профессора Кесслера, произнесенной на съезде русских естествоиспытателей в 1880 году, новое, превосходное понимание борьбы за существование. «Взаимная помощь, – говорил он, – такой же естественный закон, как и взаимная борьба; но для прогрессивного развития вида первая несравненно важнее второй».

Эта мысль, которую, к сожалению, Кесслер доказывал в своей речи лишь весьма немногими фактами (умный Северцов сейчас же принял ее и подтвердил двумя-тремя примерами), явилась для меня ключом ко всей задаче. Я написал об этом из Клэрво длинное письмо Элизе Реклю и начал собирать материалы из жизни животных в подтверждение моей мысли.

Теперь, когда Гексли, желая бороться с социализмом, выступил в 1888 году в «Nineteenth Century» со своею жестокою статьею «The Struggle for Existence: a Program»[49], я решился наконец изложить в удобочитаемой форме материалы, собранные мною за последние шесть лет, и выставить мои возражения против ходячего понимания борьбы за жизнь между животными и между людьми. Я сказал об этом некоторым английским друзьям, но скоро убедился, что «борьба за существование», истолкованная как боевой клич: «Горе слабым!» – и возведенная на ступень непреложного «естественного закона», освященного наукой, пустила в Англии такие глубокие корни, что превратилась почти в канон. Только два человека ободрили меня выступить против этого ложного толкования жизни природы. Издатель «Nineteenth Century» Джемс Ноулз (James Knowles) со своею замечательной проницательностью тотчас усмотрел важность вопроса и стал убеждать меня, с чисто юношескою пылкостью, взяться за эту работу. Другой был Бэтс (Bates), автор хорошо известной у нас книги «Натуралист на Амазонской реке». Он, как известно, много лет собирал именно такие данные изменчивости видов, на которых Дарвин построил свои великие обобщения, и Дарвин в своей автобиографии говорит о нем как об одном из самых умных встреченных им людей. Бэтс был секретарем Лондонского географического общества, и я знал его. Когда я ему сообщил о своем намерении, он очень обрадовался. «Да, непременно сделайте эту работу! – говорил он. – Это настоящий дарвинизм. Просто обидно думать, что они сделали из идей Дарвина. Пишите вашу книгу, а когда вы ее издадите, я вам пришлю письмо, которое вы можете напечатать».

Лучшего поощрения нельзя было желать, и я с удвоенной энергией продолжал работу, которая печаталась в «Nineteenth Century» под заглавием «Взаимная помощь у животных», затем – «у дикарей, у варваров, в средневековом городе и в современном обществе», а потом я издал все это книгою «Mutual Aid: a Factor of Evolution». К сожалению, я не послал Бэтсу двух первых статей о взаимной помощи у животных, хотя они вышли еще при его жизни. Я надеялся скоро закончить вторую часть, посвященную взаимной помощи у людей, но мне понадобилось для этого несколько лет, а тем временем Бэтс умер.

Изыскания, которые мне пришлось сделать в этой работе, чтобы ознакомиться с учреждениями варварского периода и вольных средневековых городов, привели меня к другим интересным исследованиям, а именно к изучению роли государства в течение трех последних веков со времени новейшего его выступления в Европе в XVI веке. С другой стороны, изучение учреждений взаимопомощи в различные фазисы цивилизации привело

меня к изысканиям о развитии в человечестве идей справедливости и нравственности. Я изложил эти работы в двух лекциях. Одна из них озаглавлена «Государство и его роль в истории», другая называется «Справедливость и нравственность». В этой лекции я набросал свое понимание этики, то есть общественной нравственности вообще, и эти последние три года[50] я занялся более полною разработкою мыслей, высказанных в этой лекции.

За последние десять лет развитие социализма в Англии приняло новый характер. Те, которые обращают главное внимание на число социалистических и анархических собраний и на число слушателей, привлекаемых ими, готовы заключить, что социалистическая пропаганда идет на убыль; а те, которые судят об успехах идеи по числу голосов, поданных за кандидатов, помогающих представлять социализм в парламенте, приходят к заключению, что социалистическая пропаганда вот-вот исчезнет в Англии. Но о глубине и ширине распространения социалистических воззрений нельзя судить по числу голосов, поданных за кандидатов, в большей или меньшей мере выставляющих в своих программах требования социалистов. В особенности это было бы неверно в Англии. В самом деле, из трех социалистических направлений, разработанных Фурье, Сен-Симоном и Робертом Оуэном, в Англии и Шотландии господствует последнее. Поэтому о силе движения нужно судить не столько по числу митингов и по количеству голосов, сколько по проникновению социалистических идей в рабочие союзы, в кооперативные общества и в так называемый муниципальный социализм, также в умы народа вообще во всей стране. В одних умах эти воззрения вполне сознательны, в других они еще очень неопределенны; но для всех они уже начинают служить меркой при оценке экономических и политических явлений.

Если рассматривать Англию с этой точки зрения, то нужно будет признать, что социалистические идеи значительно распространились здесь сравнительно с 1886 годом. И я скажу даже, не колеблясь, что их распространение громадное сравнительно с тем, что оно было в 1876–1882 годах. Могу прибавить также, что постоянные усилия маленьких анархических групп заметно содействовали развитию и распространению в рабочей среде, а через нее – и среди вожаков, идей об умалении роли всякого правительства и о соответственном развитии прав личности, независимости местных организаций и возможности свободного соглашения. Вспомнивши, как двадцать лет тому назад повсюду царили идеалы все сильного государства, централизации и дисциплины, я смело могу сказать, что мы не потеряли даром своего времени.

Вся Европа переживает теперь очень скверный момент – развитие военщины. Военщина, то есть вера в военную силу, – неизбежное последствие победы, одержанной над Францией в 1871 году военною германскою империею, с ее системой всеобщей воинской повинности. И неизбежность развития в Европе военщины и империализма была предсказана тогда же, в особенности Бакуниным. К счастью, в настоящее время начинает уже намечаться противоположное течение[51].

Что же касается коммунистических идей, то, с тех пор как их стали проповедовать не в их казарменной или монастырской форме, а в форме общинного, вольного соглашения, они широко распространились в Европе и в Америке. Я мог убедиться в этом воочию за последние двадцать семь лет, что принимаю деятельное участие в социалистическом движении. Когда я вспоминаю о неопределенных, смутных, робких идеях, выраженных

рабочими и их друзьями на первых конгрессах Интернационала или обращавшихся в Париже во время Коммуны, даже среди наиболее выдающихся людей, и когда сравниваю их с мыслями, распространенными теперь среди громадного числа рабочих, я должен сказать, что мне эти два понимания жизни представляются принадлежащими к двум различным мирам.

Нет периода в истории – за исключением, может быть, революционного периода XII века, вызвавшего к жизни средневековые вечевые города, – во время которого идеи общественности пережили бы такое же коренное преобразование. И теперь, на шестидесятом году жизни, я еще более глубоко убежден, чем тридцать лет тому назад, что положение Европы таково, что чисто случайное совпадение благоприятных обстоятельств может вызвать революцию, которая так же быстро распространится по всем странам, как революция 1848 года, но будет иметь притом гораздо более глубокое значение: она представит миру не простую борьбу между враждебными политическими партиями, но быстрое и решительное преобразование всего общественного строя в направлении коммунизма.

И я глубоко убежден, что, какой бы характер ни приняло это движение в различных странах, всюду, в каждой стране проявится более широкое понимание социальных перемен, сделавшихся неизбежными, чем мы это видели где бы то ни было за последние шесть веков. В то же время сопротивление со стороны привилегированных классов едва ли будет носить тот характер слепого упорства, которое делало революции прошлых веков столь кровавыми.

Этот великий результат вполне достоин тех усилий, которые были сделаны за последние тридцать лет тысячами борцов всех наций и всех классов.

Версия #1

□□□□□□□□ □□□□□□□□ создал 29 апреля 2025 05:45:48

□□□□□□□□ □□□□□□□□ обновил 29 апреля 2025 05:50:38